

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ж. САНД

ГРАФИНЯ
РУДОЛЬШТАДТ

 FOLIO

Шкільна бібліотека української та світової літератури

Жорж Санд

Графиня Рудольштадт

«Фолио»

ББК 84(4ФРА)

Санд Ж.

Графиня Рудольштадт / Ж. Санд — «Фолио», — (Шкільна бібліотека української та світової літератури)

ISBN 978-96-03-6969-6

Жорж Санд (настоящее имя — Амандина Аврора Люсиль Дюпен; 1804 —1876) — известная французская писательница XIX века. «Графиня Рудольштадт» (1843) является продолжением истории певицы Консуэло из одноименного романа. Консуэло стала звездой королевского театра в Вене. Блестящая карьера, успех, внимание короля — у нее теперь есть все. Но вскоре ей стало казаться, что где-то рядом находится ее покойный муж. Тогда она бросила все, чтобы разгадать тайну семьи Рудольштадт...

ББК 84(4ФРА)

ISBN 978-96-03-6969-6

© Санд Ж.

© Фолио

Содержание

ГЛАВА 1	5
ГЛАВА 2	11
ГЛАВА 3	19
ГЛАВА 4	25
ГЛАВА 5	30
ГЛАВА 6	36
ГЛАВА 7	43
ГЛАВА 8	51
ГЛАВА 9	58
ГЛАВА 10	64
ГЛАВА 11	72
ГЛАВА 12	81
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Жорж Санд

Графиня Рудольштадт

ГЛАВА 1

Зала Итальянской оперы в Берлине, построенная в первые годы царствования Фридриха Великого, была в то время одной из самых красивых в Европе. Вход был бесплатный, ибо за все спектакли платил сам король. Для доступа в театр требовался, однако, билет, так как все ложи предназначались определенным лицам: одни – принцам и принцессам королевской фамилии, другие – членам дипломатического корпуса, знаменитым путешественникам, ученым из Академии, генералам. И так, повсюду – члены семьи короля, лица, состоящие на жалованье у короля, фавориты короля. Впрочем, роптать не приходилось – ведь то был театр короля и артисты короля. Для добрых обитателей доброго города Берлина оставался лишь маленький кусочек партера, ибо большая часть его была занята военными – каждый полк имел право присылать по несколько человек из каждой роты. И вот вместо веселой, легко воспламеняющейся и восприимчивой публики Парижа артисты видели перед собой «героев шести футов ростом», как называл их Вольтер, в высоченных шапках, причем большинство из них сажало себе на плечи своих жен. Все это вместе составляло неотесанную, пропахшую табаком и водкой толпу, которая ни слова не понимала, тарасила глаза и, не осмеливаясь ни аплодировать, ни свистеть из страха перед инструкцией, все-таки производила много шума, так как ни минуты не оставалась в покое.

Позади этих господ находились два ряда лож, откуда зрители ничего не видели и не слышали, но где они неизменно присутствовали, ибо приличия ради вынуждены были регулярно посещать спектакли, которые столь щедро преподносил им его величество король. Сам же король не пропускал ни одного спектакля. То был отличный способ всегда держать на виду многочисленных членов своей семьи и беспокойный муравейник придворных. Фридрих следовал примеру отца, Вильгельма Толстого, который делал то же, но в плохо сколоченной зале, где, слушая плохих немецких комедиантов, королевское семейство и его двор умирали со скуки в зимние вечера и терпеливо мокли под дождем, пока сам король спал. Фридрих долго страдал от этой домашней тирании, он проклинал ее, он вынужден был ее выносить, но, едва успев стать властелином, восстановил этот обычай, как и многие другие, более деспотические и более жестокие, всю прелесть которых он оценил теперь, когда сделался единственным человеком в королевстве, переставшим от них страдать.

Однако сетовать никто не смел. Здание оперного театра было великолепно, отделка роскошна, артисты пели превосходно, и король, почти всегда стоявший у рампы, подле оркестра, с наведенным на сцену лорнетом, являл собой образец неутомимого меломана.

Всем известно, что Вольтер, вскоре после того, как он водворился в Берлине, восхвалял великолепие двора «Северного Соломона». Раздраженный пренебрежением Людовика XV, невниманием своей покровительницы – госпожи Помпадур, преследуемый иезуитами, осведомленный во Французском театре, он уехал в минуту досады за почестями, за большим жалованьем, за титулом камергера, за орденом Почетного легиона и за дружбой короля-философа, еще более лестной в его глазах, чем все остальное. Словно большой ребенок, великий Вольтер дулся на Францию, воображая, будто неблагоприятные соотечественники «лопнут с досады». И, как видно, он слегка охмелел от своей новой славы, когда писал друзьям, что Берлин не хуже Версаля, что опера «Фаэтон» – превосходнейшее зрелище, а у примадонны прекраснейший голос во всей Европе.

Однако в тот период, когда мы вновь начинаем наш рассказ (чтобы не утомлять память наших читательниц, скажем сразу, что со времени последних приключений Консуэло прошел почти год), зима оказалась в Берлине весьма суровой, великий король слегка приоткрыл свою истинную сущность, и Вольтер успел порядком разочароваться в Пруссии. Он сидел в своей ложе между д'Аржансом и Ламетри, уже не притворяясь, будто любит музыку, которую никогда не чувствовал так сильно, как истинную поэзию. У него болел живот, и он с грустью вспоминал неблагодарную, но пылкую публику парижских театров, чье неодобрение причиняло ему столько горя, чьи аплодисменты доставляли столько радости, – публику, соприкосновение с которой так сильно волновало его, что он поклялся никогда больше ее не видеть, хотя не мог помешать себе беспрестанно о ней думать и трудиться для нее не покладая рук.

А между тем сегодняшний спектакль был превосходен. Стояли дни карнавала, и все члены королевской семьи, даже маркграфы, нашедшие себе жен в глубине страны, собрались в Берлине. Давали «Тита» Метастазию и Гассе, и обе главные роли исполняли двое лучших артистов итальянской труппы – Порпорино и Порпорина.

Если наши читательницы соблаговолят слегка напрячь память, они припомнят, что эти два действующих лица не являлись мужем и женой, как это можно было бы предположить по их псевдонимам. Нет, первый был синьор Уберти, обладатель изумительного контральто, а вторая Zingarella Консуэло, замечательная певица, причем оба являлись учениками профессора Порпоры, который, по итальянскому обычаю того времени, позволил им носить славное имя их учителя.

Надо сознаться, что синьора Порпорина пела в Пруссии далеко не с тем подъемом, на какой она чувствовала себя способной в прежние, лучшие времена. В то время как чистое контральто ее партнера звонко раздавалось во всех уголках берлинской Оперы, оберегаемое всеми благами обеспеченной жизни, привычкой к неизменным успехам и постоянным жалованьем в пятнадцать тысяч ливров за два месяца работы, бедная цыганочка, быть может более пылкая и, уж конечно, более бескорыстная и менее приспособленная к ледяному холоду севера и прусских капралов, не чувствовала сейчас особого воодушевления и пела в той добросовестной, безупречной манере, которая не дает повода для порицания, но и не вызывает энтузиазма. Энтузиазм артистки и энтузиазм публики не могут не быть взаимны. Так вот, в дни славного царствования Фридриха Великого энтузиазма в Берлине не было. Пунктуальность, повиновение и то, что в восемнадцатом столетии, и особенно при дворе Фридриха, называли разумом, – таковы были единственные добродетели, какие могли расцветать в этой атмосфере, температуру которой устанавливал король. Никто из собравшихся в этой зале не имел права вздохнуть или пошевелиться, если на то не было его высочайшего соизволения. Среди всего этого множества зрителей только один из них мог свободно отдаваться своим впечатлениям, и это был король. Публику олицетворял он один, и хоть он был хорошим музыкантом, хоть он любил музыку, все его способности, все склонности были подчинены такой холодной логике, что королевский лорнет, словно прикованный ко всем жестам и ко всем переливам голоса певицы, не только не воодушевлял, а, напротив, совершенно парализовал ее.

Впрочем, для нее было даже лучше, что она повиновалась этому тягостному гипнозу. Малейшее проявление горячности, малейший порыв неожиданного вдохновения, по всей вероятности, шокировали бы и короля и придворных, тогда как трудные и сложные рулады, исполняемые с четкостью безупречного механизма, приводили в восторг короля, придворных и Вольтера. Как известно, Вольтер говорил: «Итальянская музыка намного лучше французской, потому что она более сложна, а преодоленная трудность что-нибудь да значит». Так понимал искусство Вольтер. Подобно некоему остролову – он еще жив, – у которого спросили, любит ли он музыку, Вольтер мог бы ответить: «Она не слишком мне мешает».

Все шло прекрасно, и опера беспрепятственно двигалась к развязке. Король был весьма доволен и время от времени кивал капельмейстеру, выражая ему одобрение; он уже соби-

рался начать аплодировать певице, заканчивавшей свою каватину, как милостиво делал это обычно, всегда воздавая ей должное, но тут, по какой-то необъяснимой прихоти случая, Порпорина, посреди блестящей рулады, которая неизменно ей удавалась, внезапно умолкла, устремив странный взгляд в угол залы, стиснула руки и с криком: «О, боже!» упала без чувств на подмостки. Порпорино поспешил ее поднять, пришлось унести ее за кулисы, а в зале раздался шум – вопросы, предположения, догадки. В разгаре этой суматохи король громко окликнул тенора, который еще оставался на сцене.

– Что все это значит, Кончолини? Что с ней такое? – спросил он властным и резким голосом, перекрывшим шум толпы. – Идите взгляните на нее, да поживее!

Через несколько секунд Кончолини вернулся и, почтительно перегнувшись через рампу, на которую облокотился король, сообщил:

– Ваше величество, синьора Порпорина лежит как мертвая. Боюсь, что она не сможет закончить спектакль.

– Полноте! – сказал король, пожимая плечами. – Пусть ей дадут стакан воды, пусть принесут понюхать чегонибудь, и поскорее заканчивайте эту историю.

Певец, не имевший ни малейшей охоты рассердить короля и испытать на себе в присутствии публики вспышку его гнева, снова, как крыса, улепетнул за кулисы, а король раздраженно заговорил о чем-то с капельмейстером и с музыкантами, меж тем как часть публики, которую дурное настроение короля интересовало значительно больше, нежели бедная Порпорина, прилагала невероятные, но бесплодные усилия уловить слова монарха.

Барон фон Пельниц, обер-камергер короля и директор его театра, вскоре вернулся и доложил Фридриху, как обстоит дело. В театре Фридриха не было той атмосферы торжественности, какая могла бы быть, если бы публика чувствовала себя независимой и влиятельной. Король повсюду был у себя дома, спектакль принадлежал ему и шел для него одного. Поэтому никого не удивило, что главным действующим лицом этой неожиданной интермедии сделался он.

– Послушайте, барон, – говорил он довольно громко, не обращая внимания на то, что его слышала часть оркестра, – скоро ли это кончится? Ведь это просто смешно! Неужели там, за кулисами, у вас нет доктора? Вы обязаны постоянно держать доктора в театре.

– Ваше величество, доктор здесь. Он не решается пустить певице кровь, так как опасается, что от этого она ослабеет и не сможет играть дальше. Но ему все-таки придется прибегнуть к кровопусканию, если она не придет в чувство.

– Так, стало быть, это серьезно? Она не притворяется?

– Ваше величество, на мой взгляд, это очень серьезно.

– В таком случае, велите опустить занавес, и разойдемся по домам. Впрочем, пусть Порпорино споет нам что-нибудь взамен, чтобы мы не ушли под этим тяжелым впечатлением.

Порпорино повиновался и превосходно спел две вещицы. Король похлопал ему, публика сделала то же, и представление окончилось. Зрители стали расходиться, а король в сопровождении Пельница прошел за кулисы, в уборную примадонны.

Когда актрисе становится дурно во время исполнения роли, далеко не вся публика сочувствует ее беде; сколько бы любитель музыки ни обожал своего кумира, к его жалости всегда примешивается такая доля эгоизма, что он куда более огорчен потерей собственного удовольствия, нежели страданиями и тревогами самой жертвы. Некоторые чувствительные женщины, как говорили в то время, оплакивали сегодняшний несчастный случай следующим образом:

– Бедняжка! Должно быть, она только собралась начать трель, как вдруг у нее запершило в горле, и, побоявшись не вытянуть ее, она предпочла упасть в обморок.

– А мне кажется, она не притворялась, – сказала другая дама, еще более чувствительная. – Люди не падают наземь с такой силой, если не больны по-настоящему.

– Ах, почему знать, моя милая? – подхватила первая. – Хорошая актриса умеет падать, как ей вздумается: она не боится причинить себе немножко боли. Ведь это так нравится публике!

– Что такое стряслось сегодня с этой Порпориной? – спрашивал Ламетри маркиза д'Аржанса в другом конце вестибюля, где толпились, уходя, великосветские зрители. – Уж не поколотил ли ее любовник?

– Не говорите так о прелестной, добродетельной девушке, – возразил маркиз. – У нее нет любовника, а если бы даже и был, то она никогда не заслужит с его стороны подобного оскорбления, разве только он последний негодяй.

– Ах, простите, маркиз! Я и забыл, что говорю с доблестным защитником всех актрис театра – бывших, настоящих и будущих! Кстати, как поживает мадемуазель Кошуа?

– Дорогая моя, – говорила в это же самое время, сидя в карете, принцесса Амалия Прусская, сестра короля, аббатиса Кведлинбургская, постоянной своей наперснице, прекрасной графине фон Клейст, – заметила ли ты, как волновался брат во время сегодняшнего приключения?

– Нет, принцесса, – ответила госпожа Мопертюи, старшая домоправительница принцессы, добрейшая, но весьма недалекая и весьма рассеянная особа, – я ничего не заметила.

– Да не с тобой говорят, – ответила принцесса тем резким и решительным тоном, какой придавал ей иногда такое сходство с братом. – Где тебе что-нибудь заметить! Лучше посмотри-ка на небо и сосчитай, сколько там сейчас звезд. Мне надо кое-что сказать графине фон Клейст, и я не хочу, чтобы ты нас слышала.

Госпожа де Мопертюи добросовестно заткнула уши, а принцесса, наклонясь к сидевшей напротив госпоже фон Клейст, продолжала:

– Говори что угодно, а по-моему, впервые за пятнадцать или даже за двадцать лет, словом, с тех пор, как я научилась наблюдать и понимать, король влюблен.

– Ваше королевское высочество говорили то же самое в прошлом году по поводу мадемуазель Барберини, а его величество король и не думал в нее влюбляться.

– Не думал! Ошибаешься, деточка. Так много думал, что когда молодой канцлер Коччеи женился на ней, брат целых три дня злился, как никогда в жизни, хотя и скрывал это.

– Но ведь вашему высочеству хорошо известно, что его величество терпеть не может неравных браков. – Да, то есть браков по любви – ведь это называется так. Неравный брак! Какие громкие слова, бессмысленные, как все громкие слова, которые управляют светским обществом и тиранят человека.

Принцесса испустила глубокий вздох и вдруг, со свойственной ей быстротой меняя тему разговора, насмешливо и раздраженно сказала старшей домоправительнице:

– Мопертюи, ты слушаешь нас, а не смотришь на небесные светила, как я тебе приказала. Стоило ли выходить замуж за такого ученого человека, чтобы потом слушать болтовню двух сумасбродок, вроде фон Клейст и меня!.. Так вот, – продолжала она, обращаясь к своей любимице, – король и в самом деле чуть-чуть любил эту Барберини. Я знаю из верного источника, что часто после театра он заходил к ней выпить чашку чаю вместе с Жорданом и Шазолем и даже, что она не раз бывала на ужинах в Сан-Суси, а до нее такое событие было немислимо в жизни Потсдама. Если хочешь, я скажу тебе больше. Она жила там в отведенных ей апартаментах неделями, а может быть, и месяцами. Как видишь, я довольно недурно знаю то, что происходит, и таинственный вид моего брата меня нисколько не обманывает.

– Раз вашему королевскому высочеству так хорошо все известно, вы знаете и то, что по причинам... государственного порядка, о которых мне не подобает догадываться, королю иногда угодно бывает внушать окружающим мнение, будто он не так уж суров, как предполагают, хотя в действительности...

– Хотя в действительности брат никогда не любил ни одну женщину, даже и собственную жену, – ведь так? А я не верю в его пресловутую добродетель и еще меньше – в его холодность.

Фридрих всегда был лицемером. Но он никогда не заставит меня поверить, будто мадемуазель Барберини подолгу жила у него во дворце единственно для того, чтобы ее считали его любовницей. Она красива, как ангел, и умна, как дьявол, хорошо образованна и говорит не знаю уж на скольких языках.

– Она порядочная женщина и обожает своего мужа.

– А муж обожает ее – тем более что это чудовищный мезальянс, не так ли, фон Клейст? Ага, ты не отвечаешь? Уж не задумала ли и ты сама, благородная вдова, другой мезальянс с каким-нибудь бедным пажом или жалким бакалавром?

– А вашему высочеству хотелось бы увидеть еще один мезальянс – мезальянс сердца – между королем и какой-нибудь девицей из Оперы?

– Ах, будь то Порпорина, эта связь была бы более вероятна, а дистанция меньше пугала бы меня. Мне кажется, на сцене, как и при дворе, существует определенная иерархия: ведь этот предрассудок – выдумка и болезнь человеческого рода. Певица ценится значительно выше, нежели танцовщица. К тому же говорят, что эта Порпорина еще более умна, образованна, воспитана, мила, и, наконец, что она знает даже больше разных языков, чем Барберини. А ведь желание уметь говорить на тех языках, которых он не знает, – это мания моего брата. И потом, музыка, которую он якобы так любит, хотя в действительности ему нет до нее дела... Понимаешь? Вот еще одна точка соприкосновения с нашей примадонной. И ведь она тоже ездит летом в Потсдам, занимает те же самые апартаменты, которые занимала в новом Сан-Суси Барберини, поет на интимных концертах короля... Разве всего этого мало, чтобы подтвердить мою догадку?

– Напрасно ваше высочество льстит себя надеждой обнаружить какую-нибудь слабость в жизни нашего великого короля. Все это делается слишком явно и слишком обдуманно, чтобы можно было заподозрить тут хоть самую малость любви.

– Не любви, нет, Фридрих не знает, что такое любовь. Но, быть может, тут увлечение, интрижка. Ты не станешь отрицать, что об этом шепчутся решительно все.

– Да, но никто этому не верит. Все думают, что король, стремясь рассеять скуку, пытается развлечься, слушая болтовню и красивые рулады актрисы, но что после четверти часа такой болтовни и рулад он говорит ей, как сказал бы любому из своих секретарей: «На сегодня хватит. Если мне захочется послушать вас завтра, я дам вам знать».

– Да, не слишком любезно. Если именно так он ухаживал за госпожой де Коччеи, то неудивительно, что она его не выносила. А эта Порпорина ведет себя с ним так же нелюбезно?

– Говорят, она необыкновенно скромна, благовоспитанна, робка и печальна.

– О, это лучший способ понравиться королю! Как видно, она хитрая особа! Ах, если бы так! И если бы можно было довериться ей!

– Умоляю вас, принцесса, никому не доверяйтесь – даже госпоже Мопертюи, которая спит сейчас таким крепким сном.

– Пусть ее храпит. Спит она или бодрствует – одинаково глупа... Так вот, фон Клейст, мне бы хотелось познакомиться с этой Порпориной и узнать, может ли она быть мне чем-нибудь полезна. Очень жаль, что я не согласилась принять ее, когда король предлагал привезти ее ко мне как-то утром, чтобы я послушала ее пение: знаешь, я почему-то была предубеждена против нее.

– И, разумеется, напрасно. Ведь нельзя же было предположить, что...

– Ах, будь что будет! Горе и отчаяние так истерзали меня за последний год, что все второстепенные заботы уже исчезли. Я хочу видеть эту девушку. Как знать, а вдруг она сможет добиться от короля того, о чем мы тщетно его умоляем? Вот уже несколько дней, как я думаю об этом, и сегодня – ты ведь знаешь, что я не могу думать ни о чем другом, – итак, сегодня, увидев, как встревожил и испугал Фридриха ее обморок, я утвердилась в мысли, что якорь спасения – это именно она.

– Берегитесь, ваше высочество... Опасность очень велика.

– Ты всегда твердишь одно и то же. Я еще более подозрительна и осторожна, чем ты. И все-таки надо поразмыслить об этом. Проснись, моя милая Мопертюи, мы приехали.

ГЛАВА 2

В то время, как молодая и красивая аббатиса занималась этой беседой, сам король без стука входил в уборную Порпорины, начинавшей уже приходиться в себя.

– Ну что, мадемуазель, – сказал он ей не слишком сочувственным и даже не слишком вежливым тоном, – как вы себя чувствуете?.. Вы, оказывается, подвержены подобным припадкам? При вашей профессии это весьма неудобно. Может быть, у вас была какая-нибудь неприятность? Неужели вы так больны, что не можете даже ответить мне? Тогда отвечайте вы, сударь, – сказал он врачу, который сутился возле певицы. – Она действительно больна?

– Да, государь, – ответил врач, – пульс едва прощупывается. Кровообращение нарушено, и все жизненные функции как бы приостановлены. Кожный покров похолодел.

– В самом деле, – сказал король, взяв руку молодой девушки. – Взгляд остановился, губы побледнели. Дайте ей выпить гофманских капель, черт побери! Я опасался, что это притворство, но вижу, что ошибся. Девушка тяжело больна. Она не зла и не капризна, вы согласны со мной, господин Порпорино? Может быть, кто-нибудь огорчил ее нынче? У нее ведь не может быть врагов, правда?

– Государь, это не актриса, – ответил Порпорино. – Это ангел.

– Ни больше, ни меньше! Уж не влюблены ли вы в нее?

– Нет, государь, я питаю к ней безграничное уважение и люблю как сестру.

– Благодаря вам обоим и Богу, который перестал проклинать актеров, мой театр скоро превратится в школу добродетели. Ага, вот она приходит в себя. Порпорино, вы не узнаете меня?

– Нет, сударь, – ответила Порпорино, растерянно глядя на короля, который легонько ударил ее по рукам.

– Кажется, она бредит, – сказал король. – Вы никогда не замечали у нее приступов эпилепсии?

– О нет, ваше величество, никогда! Это было бы ужасно, – ответил Порпорино, задетый бесцеремонностью, с какою король говорил о замечательной актрисе.

– Нет, нет, не пускайте ей кровь, – сказал король, отталкивая врача, который собирался вооружиться ланцетом. – Я не могу спокойно видеть, как льется невинная кровь, когда это происходит не на поле битвы. Вы, лекари, не воины – вы просто убийцы! Оставьте ее в покое. Дайте ей воздуху. Порпорино, не позволяйте пускать ей кровь – это может ее убить. Ведь эти господа ни перед чем не останавливаются.

Поручаю ее вам, Пельниц! Отвезите ее домой в своей карете. Вы отвечаете мне за нее. Это самая великолепная певица из тех, что были у нас до сих пор, и нам не скоро удастся найти такую же. Кстати, а что вы споете мне завтра, Кончолини?

Спускаясь с лестницы театра вместе с тенором, он говорил уже о другом, затем отправился ужинать во дворец, где в столовой уже сидели Вольтер, Ламетри, д'Аржанс, Альгаротти и генерал Квинт Ицилий.

Фридрих был жесток и глубоко эгоистичен. При всем том он бывал порой великодушен и добр, а иной раз даже нежен и отзывчив. И это отнюдь не парадокс. Все знают страшный и в то же время пленительный характер этого многогранного человека, эту сложную натуру, которая была полна противоречий, как у всех сильных людей, если они к тому же облечены неограниченной властью и ведут бурную жизнь, способствующую развитию всех их недостатков и достоинств. За ужином, поддерживая язвительно-остроумную, пересыпанную тонкими, а иногда и грубоватыми шутками беседу с этими милыми друзьями, которых он совсем не любил, с этими умными людьми, которыми он отнюдь не восхищался, Фридрих внезапно впал в задумчивость и после нескольких минут молчания сказал, вставая из-за стола:

– Продолжайте беседу, я слушаю вас.

С этими словами он уходит в соседнюю комнату, берет шляпу и шпагу, делает пажу знак следовать за собой и исчезает в глубине длинных коридоров и потайных лестниц своего старого дворца, меж тем как гости, полагая, что он находится где-то поблизости, по-прежнему взвешивают каждое слово и не осмеливаются сказать друг другу ничего такого, чего бы не мог слышать король. Впрочем, все они до такой степени (и не без основания) не доверяли друг другу, что в любом уголке прусской земли ощущали реявший над ними призрак грозного и коварного Фридриха.

Ламетри – врач, с которым король почти никогда не советовался, и чтец, которого он почти никогда не слушал, – был единственным, кто не знал страха и никому его не внушал. Все считали его совершенно безобидным, а он нашел средство сделаться совершенно неуязвимым. Средство было таково: он говорил в присутствии короля такие дерзости и совершал такие безрассудства, что ни один враг, ни один доносчик не смог бы обвинить его в проступке, который он сам не проделал бы на глазах у короля с величайшей смелостью и совершенно открыто. Кажется, он понимал буквально те софизмы о всеобщем равенстве, которыми якобы руководствовался король в узком кругу семи или восьми человек, удостоившихся его близости. В эту пору, после десятка лет царствования, Фридрих, человек еще молодой, не совсем утратил снискавшую ему расположение народа приветливость обращения, какой отличался наследный принц, дерзкий философ Ремусберга. Люди, хорошо его знавшие, и не думали доверять этой приветливости. Вольтер, самый избалованный из всех и прибывший сюда последним, уже начинал, однако, тревожиться, замечая, как из-под маски доброго государя проглядывает тиран, а из-под маски Марка Аврелия – Дионисий. Ламетри (что это было – беспримерная искренность, тонкий расчет или дерзкая беспечность?) вел себя с королем так бесцеремонно, как того якобы желал сам король. Он снимал в его апартаментах галстук, парик, чуть ли не башмаки, лежал, развальясь на его кушетках, не стесняясь высказывал ему свои мысли, при всех противоречил ему, не задумываясь объявлял пустяками такие вещи, как королевская власть, религия и все прочие «предрассудки», в которых пробил брешь «свет разума» сегодняшнего дня. Словом, он вел себя как настоящий циник и подавал столько поводов для немилости и удаления, что казалось просто чудом, как это он все еще стоит на ногах, в то время как столько других давно опрокинуты и раздавлены из-за куда менее значительных провинностей. Дело в том, что на подозрительные, недоверчивые натуры – а именно таков был Фридрих – какая-нибудь неосторожная фраза, подслушанная и переданная шпионом, малейшее подозрение в лицемерии действуют сильнее, нежели тысяча необдуманных поступков. Фридрих считал Ламетри настоящим безумцем и нередко поражался, говоря про себя:

«Ну и скотина! Его бесстыдство превосходит все границы».

Но тут же добавлял:

«Зато это человек искренний, не двоедушный, не двуличный. Он не способен злословить исподтишка, раз высказывает свою злобу прямо мне в лицо. Вот другие пресмыкаются передо мной, но кто знает, что они говорят и думают, когда я поворачиваюсь к ним спиной и они встают во весь рост? Стало быть, Ламетри – честнейший из всех моих придворных, и я должен выносить его, хоть он и невыносим».

Так шло и дальше. Ламетри уже не мог рассердить короля и даже ухитрился рассмешить Фридриха такими шутками, каких тот не простил бы никому другому. В то время как Вольтер с самого начала вступил на путь неумеренного славословия, которое начинало уже тяготить его самого, циник Ламетри вел себя по-прежнему, приятно проводил время, чувствуя себя с Фридрихом так же непринужденно, как с первым встречным, и ему не приходилось проклинать и ниспровергать кумира, которому он никогда ничем не жертвовал и ничего не обещал. Именно поэтому Фридрих, начавший уже скучать в обществе Вольтера, по-прежнему веселился, дру-

жески беседуя с Ламетри, и не мог без него обойтись: ведь это был единственный человек, не притворявшийся, что ему весело в обществе короля.

Маркиз д'Аржанс состоял в должности камергера с окладом в шесть тысяч франков (обер-камергер Вольтер получал двадцать тысяч). То был легкомысленный философ, способный, но поверхностный литератор, истинный француз своего времени, добрый, ветреный, распутный, чувствительный, храбрый и в то же время изнеженный, остроумный, великодушный и насмешливый; человек неопределенного возраста, мечтательный, как юноша, и склонный к скептицизму, как старик, он всю свою молодость отдал актрисам, то обманывая их, то будучи обманут сам, без памяти влюблялся в каждую и в конце концов тайно женился на мадемуазель Кошуа, лучшей актрисе Французской комедии в Берлине, особе некрасивой, но умной, которой ему вздумалось дать образование. Фридрих еще не знал об этом тайном союзе, и д'Аржанс остерегался говорить о нем тем, кто мог его выдать. Вольтер, однако, был посвящен в тайну. Д'Аржанс искренно любил короля, но тот любил его не больше, чем всех остальных. Фридрих не верил в чью бы то ни было привязанность, и бедный д'Аржанс оказывался то соучастником, то мишенью самых жестоких его шуток.

Известно, что полковник, которого Фридрих наградил высокопарным прозвищем Квинта Ицилия, был попросту француз Гишар, неутомимый воин и ученый стратег, а впрочем, изрядный мошенник, как все люди такого толка, и царедворец в полном смысле этого слова.

Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем исторических лиц, не будем говорить об Альгаротти. Расскажем только, как вели себя гости Фридриха в его отсутствие. Впрочем, мы уже упомянули, что они не только не освободились от угнетавшего их тайного смущения, а, напротив, почувствовали себя еще хуже и при каждом слове поглядывали на полуоткрытую дверь, в которую вышел король и за которой он, быть может, наблюдал за ними. Исключением оказался один Ламетри. Заметив, что в отсутствие короля им стали небрежно прислуживать за столом, он вскричал:

– Что же это такое, черт побери! По-моему, со стороны хозяина крайне неучтиво оставлять нас без слуг и без шампанского. Пойду взгляну, там ли он, и выскажу ему свое недовольствие.

Он встал, вошел, не побоявшись быть нескромным, в опочивальню короля и тотчас вернулся с возгласом:

– Никого! Нет, как вам это понравится? Ничуть не удивлюсь, если окажется, что он сел на коня и совершает при свете факелов прогулку, чтобы ускорить процесс пищеварения. Вот чудак!

– Сами вы чудак! – ответил Квинт Ицилий, который никак не мог привыкнуть к странному поведению Ламетри.

– Так, стало быть, король ушел? – спросил Вольтер, вздохнув свободнее.

– Да, король ушел, – сказал, входя в комнату, барон фон Пельниц. – Я только что встретил его на заднем дворе в сопровождении одного-единственного пажа. Он был в сером плаще, который всегда надевает, когда хочет, чтобы его не узнали, и, разумеется, я его не узнал.

Мы должны сказать несколько слов о третьем камергере – новом госте, только что вошедшем в столовую, – не то читатель не поймет, каким образом кто-либо, кроме Ламетри, посмел столь дерзко отозваться о властелине. Пельниц, чей возраст был так же загадочен, как размер его содержания и его обязанности, был тот самый прусский барон, тот светский развратник времен регентства, который в молодости блистал при дворе графини Пфальцской – матери герцога Орлеанского – тот самый неистовый игрок, чьи долги уже отказался платить прусский король, тот авантюрист крупного масштаба, циничный и распутный, весьма склонный к наущничеству и немного мошенник, тот наглый царедворец, которого держал на привязи, кормил, презирал, осыпал насмешками и весьма скупно оплачивал его хозяин. И все-таки этот хозяин не мог без него обойтись, ибо всякий неограниченный властелин ощущает потребность иметь под

рукой человека, который способен на любую подлость, ибо находит в этом некоторое возмещение своих собственных унижений и смысл своего существования. Вдобавок, Пельниц состоял в то время директором театров его величества, своего рода главным распорядителем придворных увеселений. Его тогда уже называли стариком Пельницем, как называли тридцать лет спустя. Это был вечный царедворец – ведь некогда он был пажом покойного короля. Утонченный разврат в духе регентства сочетался в нем с грубым цинизмом Табачной коллегии Вильгельма Толстого и с дерзкой непреклонностью царствования Фридриха Великого, отмеченного остроумием и военщиной. Так как единственной милостью со стороны последнего была постоянная опала, Пельниц не слишком боялся ее потерять, тем более что роль наемного подстрекателя, которую он неизменно играл, действительно делала его неуязвимым для чьих бы то ни было наветов в глазах повелителя, чьи поручения он выполнял.

– Черт побери! – вскричал Ламетри. – Надо бы вам, милейший барон, пойти следом за королем, а потом прийти сюда и рассказать нам его приключения. Вот бы мы помучили его потом – получилось бы так, словно мы, не вставая из-за стола, видели, где он был и что делал.

– Или лучше того, – со смехом подхватил Пельниц, – сказали бы ему об этом только завтра, а свою прозорливость приписали бы чародею.

– Что это еще за чародей? – спросил Вольтер.

– Знаменитый граф де Сен-Жермен. Нынче утром он появился в Берлине.

– Вот как! Интересно бы узнать, кто он – шарлатан или сумасшедший.

– Это нелегкое дело, – ответил Ламетри. – Он так искусно скрывает свою игру, что никто не может сказать про него ничего определенного.

– Видно, не такой уж он сумасшедший! – вставил Альгаротти.

– Поговорим о Фридрихе, – сказал Ламетри. – Мне хочется какой-нибудь занятной историей возбудить его любопытство, а он в награду угостит нас Сен-Жерменом и его допотопными приключениями. Это будет очень забавно. Но где же все-таки сейчас наш монарх? Барон, вы знаете, где он! Вы чересчур любопытны и, конечно, проследили за ним или чересчур хитры и уже давно обо всем догадались.

– Если угодно, я готов рассказать... – начал Пельниц.

– Надеюсь, сударь, – побагровев от негодования, вмешался Квинт, – что вы не станете отвечать на странные вопросы Ламетри. Если его величество...

– Ах, милейший, – перебил его Ламетри, – с десяти часов вечера до двух утра здесь нет никакого величества. Фридрих установил это раз навсегда, и я знаю лишь один закон: «За ужином король не существует». Да разве вы не видите, что бедняга король скучает, и разве вы, плохой слуга и плохой друг, не хотите хотя бы в отрадные ночные часы помочь ему забыть о гнете его величия? Ну, Пельниц, ну, добрый барон, скажите же нам, где сейчас король?

– Я не желаю этого знать! – заявил Квинт, выходя из-за стола.

– Как хотите, – сказал Пельниц. – Пусть те, кто не желает слушать, заткнут уши!

– Я весь превратился в слух, – сказал Ламетри.

– Я тоже, черт побери, – смеясь сказал Альгаротти.

– Господа, – проговорил Пельниц. – Его величество находится сейчас у синьоры Порпорины.

– Да вы просто морочите нас! – вскричал Ламетри. И добавил латинскую фразу, которую я не могу перевести, так как не знаю латыни.

Квинт Ицилий побледнел и вышел. Альгаротти прочитал вслух итальянский сонет, который тоже остался для меня не вполне понятным. А Вольтер тут же сочинил четверостишие, сравнивая Фридриха с Юлием Цезарем. После чего три ученых мужа с улыбкой переглянулись, а Пельниц повторил с серьезным видом:

– Даю вам честное слово, что король сейчас у Порпорины.

– Не могли бы вы преподнести нам что-нибудь другое? – сказал д'Аржанс, который был недоволен этим разговором, ибо не принадлежал к числу людей, выдающих чужие тайны, чтобы поднять свой авторитет.

Пельниц нимало не смутился.

– Тысяча чертей, господин маркиз! Когда король говорит, что вы находитесь у мадемуазель Кошуа, мы и не думаем возмущаться. Почему же вас так возмущает тот факт, что король находится у мадемуазель Порпорины?

– Напротив, он мог бы стать для вас весьма поучительным, – возразил Альгаротти, – и если это правда, я поеду сообщить об этом в Рим.

– Его святейшество любит позубоскалить, – добавил Вольтер, – и он отпустит на этот счет какую-нибудь забавную шутку.

– Над чем это будет зубоскалить его святейшество? – спросил король, неожиданно появляясь в дверях столовой.

– Над любовными похождениями Фридриха Великого и Порпорины из Венеции, – дерзко ответил Ламетри.

Король побледнел и бросил грозный взгляд на своих гостей; гости тоже побледнели – кто больше, кто меньше, – все, за исключением Ламетри.

– Ничего не поделаешь, – спокойно заявил Ламетри. – Сегодня вечером в театре господин де Сен-Жермен предсказал, что в тот час, когда Сатурн пройдет между Львом и Девой, его величество, в сопровождении пажа...

– Что же он такое, этот граф де Сен-Жермен? – спросил король, невозмутимо садясь за стол и протягивая свой стакан Ламетри, чтобы тот налил ему шампанского.

Все заговорили о Сен-Жермене, и буря рассеялась, так и не разразившись. В первую минуту наглость Пельница, который его предал, и смелость Ламетри, который осмелился сказать это вслух, преисполнили короля гневом, но Ламетри еще не успел закончить фразу, как Фридрих вспомнил, что сам поручил Пельницу при первом удобном случае затеять разговор на известную тему и послушать, что будут говорить другие. Поэтому он тут же овладел собой с той необычайной непринужденностью и легкостью, какие были присущи ему одному, и никто больше не упомянул и словом о его ночной прогулке. Ламетри, конечно, не побоялся бы снова о ней заговорить, но мысли его немедленно приняли иное направление, которое предложил король. Так Фридрих часто побеждал даже Ламетри, обращаясь с ним как с ребенком, который вот-вот разобьет зеркало или выпрыгнет из окна, если не отвлечет его от этого каприза какой-нибудь игрушкой. Каждый высказал свое мнение о знаменитом графе де Сен-Жермене, каждый рассказал свой анекдот. Пельниц заявил, будто встречался с графом во Франции двадцать лет назад.

– И когда я увидел его сегодня утром, – добавил он, – мне показалось, что мы расстались только вчера – он ничуть не постарел. Помнится, как-то вечером во Франции, когда речь зашла о страстях Господа нашего Иисуса Христа, он вдруг воскликнул с самой забавной серьезностью: «Ведь говорил же я ему, что его ждет плохой конец у этих злых иудеев. Я даже предсказал ему почти все, что с ним произошло впоследствии, но он не пожелал меня слушать – рвение заставляло его презирать любую опасность. Его трагическая гибель вызвала у меня такую скорбь, что я никогда не утешусь, и до сих пор не могу думать о нем без слез». Тут этот проклятый граф и в самом деле заплакал, и все мы тоже готовы были пролить слезу.

– Вы такой примерный христианин, – сказал король, – что меня это несколько не удивляет.

Пельниц три или четыре раза внезапно менял религию ради выгодных должностей, которыми король его соблазнял, желая поразвлечься.

– Ваша история давно всем известна, – сказал д'Аржанс барону, – это просто выдумка. Я слышал кое-что получше. Нет, в моих глазах граф де Сен-Жермен интересен и замечателен

тем, что у него есть множество совершенно новых и остроумных суждений об исторических событиях, оставшихся для нас неясными и загадочными. По слухам, о каком бы предмете, о какой бы эпохе с ним ни заговорили, он поражает собеседника своими познаниями или умением тут же привести множество вполне правдоподобных и интересных суждений, проливающих новый свет на самые таинственные факты.

– Если эти суждения действительно правдоподобны, – заметил Альгаротти, – значит, он человек необыкновенно образованный и обладает к тому же поразительной памятью.

– Более того! – сказал король. – Одного образования недостаточно, чтобы объяснить историю. Очевидно, этот человек наделен могучим умом и глубоким знанием человеческого сердца. Интересно бы узнать, какой порок искалечил эту прекрасную натуру – желание ли сыграть исключительную роль, приписать себе бессмертие и память о событиях, которые предшествовали существованию этого человека, или он просто заболел навязчивой идеей вследствие глубоких размышлений и длительных научных занятий.

– Могу поручиться перед вашим величеством хотя бы в одном, – сказал Пельниц, – в искренности и скромности нашего героя. Граф крайне неохотно рассказывает о чудесных событиях, коих, как ему кажется, он был свидетелем. Ему стало известно, что его считают фантазером, шарлатаном, и, видимо, это очень ему неприятно, так как теперь он отказывается обнаружить свое сверхъестественное могущество.

– Скажите, государь, разве вы не умираете от желания увидеть и услышать его? – спросил Ламетри. – Я просто сгораю от нетерпения.

– Неужели такие вещи могут вас интересовать? – возразил король. – Зрелище безумия далеко не забавно.

– Согласен, если это действительно безумие. Ну, а если нет?

– Вы слышите, господа? – сказал король. – Человек, который ни во что не верит, законченный атеист, увлекается чудесами и уже готов поверить в бессмертие господина де Сен-Жермена! Впрочем, это не удивительно – ведь все знают, что Ламетри боится смерти, грома и привидений.

– Не отрицаю, бояться привидений действительно глупо, – сказал Ламетри, – но что касается грома и всего, что может стать причиной смерти, – тут мои страхи вполне обоснованны и разумны. Чего же нам бояться, черт побери, если не того, что может угрожать безопасности нашей жизни?

– Да здравствует Панург! – воскликнул Вольтер.

– Возвращаюсь к Сен-Жермену, – снова начал Ламетри. – Мессирю Пантагрюэлю следовало бы завтра же пригласить его отужинать с нами.

– Ни в коем случае, – возразил король. – Вы и без того не совсем в своем уме, мой бедный друг. Стоит Сен-Жермену появиться у меня в доме, как все суеверные лица, – а их так много вокруг нас, – миглом придумают сотню небылиц и разнесут их по всей Европе. Нет, нам нужен разум, дорогой Вольтер. О, разум, да придет царствие твое! Вот молитва, которую мы должны повторять каждый вечер и каждое утро.

– Разум, разум! – сказал Ламетри. – Я нахожу его удобным и приятным, когда он помогает мне оправдать и узаконить мои страсти, пороки... мои желания, назовите это как хотите! Но когда он мне докучает, я хочу иметь право выставить его за дверь. Мне не нужен такой разум – черт бы его побрал! – который заставляет меня притворяться храбрецом, когда мне страшно, стойком, когда мне больно, смиренным, когда я вне себя от гнева... Плевать мне на такой разум, я его не признаю. Это какое-то чудовище, химера, изобретенная старыми болтунами античности, которыми все вы так восхищаетесь неизвестно почему. Пусть царствие его не придет никогда! Я не поклонник неограниченной власти, в чем бы она ни проявлялась, и если бы кому-нибудь вздумалось принудить меня не верить в Бога, – а я не верую добровольно

и совершенно искренно, – пожалуй, я бы тотчас отправился на исповедь, просто из духа противоречия.

– О, как известно, вы способны на все, – сказал д'Аржанс, – даже на то, чтобы уверовать в философский камень графа де Сен-Жермена.

– А почему бы нет? Это было бы так приятно и так пригодилось бы мне!

– Философский камень! – вскричал Пельниц, потряхивая своими пустыми, беззвучными карманами и выразительно глядя на короля. – О да, пусть придет царствие его, и поскорей! Таковую молитву я готов читать каждое утро и каждый вечер...

– Ах, вот оно что! – перебил его Фридрих, который всегда был глух к подобным намекам. – Стало быть, ваш Сен-Жермен причастен также и к искусству делать золото? Этого я не знал!

– Так позвольте же мне от вашего имени пригласить его к ужину на завтра, – сказал Ламетри. – Думаю, что и вам не мешало бы проникнуть в его тайну, господин Гаргантюа. У вас большие потребности и гигантские аппетиты – и как у короля, и как у преобразователя.

– Замолчи, Панург, – ответил Фридрих. – Отныне твой Сен-Жермен разоблачен. Это дерзкий обманщик, и я прикажу установить за ним бдительный надзор, ибо нам известно, что люди, владеющие этим прекрасным искусством, обычно вывозят из страны больше золота, нежели оставляют в ней. Разве вы уже успели забыть, господа, знаменитого чародея Калиостро, которого я велел выгнать из Берлина не более шести месяцев назад?

– И который увез у меня сотню экю, – подхватил Ламетри. – Пусть дьявол отнимет их у него!

– Он увез бы их и у Пельница, если бы только они у него были, – добавил д'Аржанс.

– Вы прогнали его, – сказал Фридриху Ламетри, – а он отплатил вам недурной шуткой.

– Какой?

– Ах, вы ничего не знаете? Так я угощу вас одним рассказом.

– Главное достоинство всякого рассказа – его краткость, – заметил король.

– Мой заключается в двух словах. Всем известно, что в тот день, когда ваше пантагрюэльское величество приказали великому Калиостро убираться восвояси вместе с его кубами, ретортами, привидениями и дьяволами, в тот самый день, ровно в двенадцать часов пополудни, он собственной персоной проехал в своей коляске через все городские заставы Берлина одновременно. Да, да, это могут засвидетельствовать более двадцати тысяч человек. Каждый из сторожей, охраняющих заставы, видел его в той же шляпе, в том же парике, в той же самой коляске, с тем же багажом, на тех же лошадях, и вам никогда не удастся разубедить их в том, что в этот день существовало пять или шесть живых Калиостро.

Рассказ понравился всем. Не смеялся только Фридрих. Он весьма серьезно интересовался успехами милого его сердцу разума, и проявления суеверия, доставлявшие столько пищи для остроумия и веселости Вольтеру, вызывали у него лишь возмущение и досаду.

– Вот он, народ! – вскричал король, пожимая плечами. – Ах, Вольтер, вот он, народ! И это в то самое время, когда живете вы, когда яркий свет вашего факела озаряет весь мир! Вас изгнали, подвергли преследованиям, с вами боролись всеми возможными способами, а Калиостро – стоит ему где-нибудь показаться, и все уже околдованы. Еще немного, и его будут носить на руках!

– А знаете ли вы, – спросил Ламетри, – что самые знатные ваши дамы так же верят в Калиостро, как и добрые кумушки из простонародья? Да будет вам известно, что эту историю мне передала самая хорошенькая из ваших придворных дам.

– Держу пари, что это госпожа фон Клейст! – сказал король.

– «Ты сам ее назвал!» – продекламировал Ламетри.

– Вот он уже на ты с королем, – проворчал Квинт Ицилий, за несколько минут до того вошедший в комнату.

– Милейшая фон Клейст совсем помешалась, – сказал Фридрих. – Она самая заядлая фантазерка, самая ярая поклонница гороскопов и волшебства... Надо проучить ее – пусть будет поосторожнее! Она сбивает с толку всех наших дам и, говорят, заразила своим помешательством даже собственного супруга: он приносит в жертву дьяволу черных козлов, чтобы разыскать сокровища, зарытые в бранденбургских песках.

– Но ведь все это считается у вас образцом самого хорошего тона, папаша Пантагрюэль, – сказал Ламетри. – Неужели вам угодно, чтобы и женщины подчинились вашему угрюмому богу – Разуму? Женщины существуют, чтобы развлекаться и развлекать нас. Право же, в тот день, когда они потеряют свое безрассудство, мы сами окажемся в дураках! Госпожа фон Клейст очень мила, когда рассказывает о магах и чародеях. И щедро угощает ими Soror Amalia...

– Что это еще за Soror Amalia? – с удивлением спросил король.

– Да ваша благородная и прелестная сестра – аббатиса Кведлинбургская. Ни для кого не секрет, что она всем сердцем предана магии и...

– Замолчи, Панург! – прогремел король, стукнув табакеркой по столу.

ГЛАВА 3

Наступило молчание, и часы медленно пробили полночь. Обычно Вольтер, когда чело его дорогого Траяна омрачалось, умел искусно переменить разговор и сгладить неприятное впечатление, невольно отражавшееся и на остальных сотрапезниках. Однако в этот вечер Вольтер, печальный и больной, сам испытывал глухой отголосок того прусского сплина, который быстро овладевал всеми счастливыми смертными, призванными созерцать Фридриха в ореоле его славы. Как раз сегодня утром Ламетри передал ему роковую фразу Фридриха, которой суждено было преобразить притворную дружбу этих двух выдающихся людей в весьма реальную вражду. Поэтому он не сказал ни слова. «Пусть он выбрасывает кожуру Ламетри, когда ему вздумается, – думал Вольтер. – Пусть сердится, пусть страдает, только бы поскорее кончился этот ужин. У меня резь в животе, и все его любезности не облегчат моей боли».

Итак, Фридриху волей-неволей пришлось сделать над собой усилие и обрести свое философское спокойствие без посторонней помощи.

– Раз уж зашла речь о Калиостро, – сказал он, – и только что пробил час, когда принято говорить о привидениях, я расскажу вам одну историю, и вы сами поймете, как следует относиться к искусству чародеев. Это приключение – чистая правда, ее рассказал мне тот самый человек, с которым оно произошло прошлым летом. Сегодняшний случай в театре напомнил мне о нем, и, быть может, этот случай имеет какую-то связь с тем, что вы сейчас услышите.

– А история будет страшная? – спросил Ламетри.

– Возможно! – ответил король.

– Если так, я затворю дверь, что за моей спиной. Не выношу открытых дверей, когда говорят о привидениях и чудесах.

Ламетри закрыл дверь, и король начал:

– Как вы знаете, Калиостро умел показывать легковерным людям картины, или, вернее, своего рода волшебные зеркала, в которых по его желанию появлялись изображения отсутствующих людей. Он уверял, что застаёт этих людей врасплох и таким образом показывает их в самые сокровенные и самые интимные минуты их жизни. Ревнивые женщины ходили к нему, чтобы узнать о неверности мужей или любовников. Бывало и так, что любовники и мужья получали у него самые невероятные сведения о поведении некоторых дам, и, говорят, волшебное зеркало выдало множество тайных пороков. Так или иначе, но итальянские певцы оперного театра однажды вечером пригласили Калиостро на веселый ужин, сопровождаемый прекрасной музыкой, а взамен попросили его показать им несколько образчиков его искусства. Калиостро согласился и, назначив день, в свою очередь пригласил к себе Порпорино, Кончолини, мадемуазель д'Аструа и мадемуазель Порпорину, обещая показать все, что им будет угодно. Семейство Барберини также было приглашено. Мадемуазель Жанна Барберини попросила показать ей покойного дожа Венеции, и так как господин Калиостро весьма искусно воскрешает покойников, она увидела его, сильно перепугалась и в смятении вышла из темной комнаты, где чародей устроил ей свидание с призраком. Я сильно подозреваю, что мадемуазель Барберини любит «позубоскалить», как говорит Вольтер, и разыграла ужас нарочно, чтобы посмеяться над итальянскими актерами, которые вообще не отличаются храбростью и наотрез отказались подвергнуть себя подобному испытанию. Мадемуазель Порпорина со свойственным ей бесстрастным видом заявила господину Калиостро, что она уверует в его искусство, если он покажет ей человека, о котором она думает в настоящую минуту и которого ей незачем называть, поскольку чародей, должно быть, читает в ее душе, как в открытой книге. «То, о чем вы меня просите, нелегко, – ответил Калиостро, – но, кажется, я смогу удовлетворить ваше желание, если только вы дадите мне самую торжественную и страшную клятву, что не обратитесь к тому, кого я вам покажу, ни с одним словом и не сделаете, пока он будет перед

вами, ни одного движения, ни одного жеста». Порпорина поклялась и вошла в темную комнату с большой решительностью. Незачем напоминать вам, господа, что эта молодая особа обладает необыкновенной твердостью и прямою характера. Она хорошо образованна, здраво рассуждает о многих вещах, и у меня есть основания думать, что она не подвержена влиянию каких-либо ложных или узких взглядов. Порпорина так долго оставалась в комнате с призраками, что ее спутники удивились и встревожились. Все происходило, однако, в абсолютной тишине. Выйдя оттуда, она была очень бледна, и, говорят, слезы лились из ее глаз, но она тотчас же сказала товарищам: «Друзья мои, если господин Калиостро чародей, то это не настоящий чародей. Никогда не верьте тому, что он вам покажет». И не пожелала объяснить ничего более. Но несколько дней спустя Кончолини рассказал мне на одном из моих концертов об этом вечере с чудесами, и я решил расспросить Порпорину, что и сделал, как только пригласил ее петь в Сан-Суси. Заставить ее говорить оказалось нелегко, но в конце концов она рассказала следующее:

«Без сомнения, Калиостро обладает необыкновенными способами вызывать призраки, и они до такой степени похожи на реальных лиц, что самые уравновешенные люди не могут не взволноваться. Но все-таки он не волшебник, и то, что он якобы прочитал в моей душе, было, я уверена, основано на его осведомленности о некоторых обстоятельствах моей жизни. Однако эта осведомленность была неполной, и я бы не посоветовала вам, государь (это все еще слова Порпорины, – пояснил король), назначать его министром вашей полиции, ибо он мог бы наделать немало оплошностей. Ведь когда я попросила его показать мне одного отсутствующего человека, я имела в виду маэстро Порпору, моего учителя музыки – сейчас он в Вене, – а вместо него я увидела в волшебной комнате одного дорогого мне друга, скончавшегося в этом году.

– Черт подери! – произнес д'Аржанс, – пожалуй, это будет потруднее, чем показать живого!

– Подождите, господа. Калиостро, имевший неточные сведения, даже не подозревал, что человек, которого он показал мадемуазель Порпорине, умер. После того как призрак исчез, он спросил у певицы, довольна ли она тем, что увидела. «Прежде всего, сударь, – ответила она, – я хотела бы понять, что это было. Объясните мне, прошу вас». – «Это не в моей власти, – ответил Калиостро. – Вы узнали, что ваш друг спокоен и что труд его приносит пользу, – этого довольно». – «Увы! – возразила синьора Порпорина. – Сами того не зная, вы причинили мне большое горе – вы показали человека, которого я не могла надеяться увидеть, и выдаете его за живого, меж тем как я сама закрыла ему глаза полгода назад».

– Вот, господа, – продолжал Фридрих, – как обманываются эти чародеи, желая обмануть других, и как разрушаются их хитроумные планы из-за какой-нибудь пружинки, которой нет в механизме их тайной полиции. Правда, до известного предела они проникают в семейные тайны, в секреты личных привязанностей, и так как все человеческие судьбы более или менее сходны, а люди, склонные верить в чудеса, как правило, не слишком придиричивы, то из тридцати раз чародеи угадывают двадцать; и хотя в десяти случаях из тридцати они ошибаются, на это никто не обращает внимания, тогда как об удачных опытах громко кричат на всех перекрестках. То же происходит и с гороскопами. Вам предсказывают целый ряд самых обыденных вещей, таких, какие неизбежно случаются со всеми людьми: путешествие, болезнь, потерю друга или родственника, получение наследства, какую-нибудь встречу, интересное письмо и другие самые заурядные события человеческой жизни. Но вдумайтесь, на какие катастрофы, на какие горести обрекают людей слабых и впечатлительных ложные откровения этакого Калиостро! Поверив ему, муж убьет ни в чем не повинную жену; мать, которой покажут, как где-то вдали умирает ее отсутствующий сын, сойдет с ума от горя, а сколько других несчастий причиняет лженаука этих мнимых прорицателей! Все это гнусно, и вы должны признать, что я правильно поступил, изгнав из своего государства этого Калиостро, который угадывает так верно и передает такие добрые вести о здоровье людей, умерших и преданных земле.

– Допустим, – возразил Ламетри, – но все это не объясняет, каким образом *Порпорина вашего величества* увидела своего мертвеца здоровым и невредимым. Ведь если она обладает такой твердостью и таким благоразумием, как утверждает ваше величество, то это противоречит доводам вашего величества. Правда, волшебник ошибся, вытащив из своей кладовой мертвеца вместо живого, который ей понадобился, но это еще больше убеждает в том, что он располагает жизнью и смертью, и тут он сильнее вашего величества, ибо, не в обиду будь сказано вашему величеству, вы повелели убить на войне множество людей, но не смогли воскресить хотя бы одного из них.

– Так, стало быть, мы будем верить в дьявола, дорогой мой подданный? – спросил король, смеясь над уморительными взглядами, которые бросал Ламетри на Квинта Ицилия всякий раз, как торжественно произносил титул короля.

– Почему бы нам и не уверовать в этого беднягу – Сатану? На него столько клеветают, а он так умен! – отпарировал Ламетри.

– В огонь манихей! – сказал Вольтер, поднося свечу к парикам молодого доктора.

– И все же, великолепный Фриц, – продолжал тот, – я представил вам неоспоримый довод: либо прелестная Порпорина безрассудна, легковерна и видела своего мертвеца, либо она философ и не видела ровно ничего. Но ведь все-таки она испугалась? Она сама призналась в этом?

– Она не испугалась, – ответил король, – она огорчилась, как огорчился бы всякий при виде портрета, в точности воспроизводящего любимое существо, которое уже невозможно когда-либо увидеть. Но если говорить начистоту, то я думаю, что она испугалась уже после, задним числом, и что, выйдя из этого испытания, она утратила частицу своего обычного душевного спокойствия. С тех пор на нее находят приступы черной меланхолии, а это всегда является признаком слабости или нервного расстройства. Я убежден, что ум ее потрясен, хоть она и отрицает это. Нельзя безнаказанно играть с обманом. Обморок, который случился с ней нынче вечером, является, по-моему, следствием всей этой истории. И я готов держать пари, что в ее помраченном мозгу затаился смутный страх перед чудодейственным мастерством, которое приписывают Сен-Жермену. Мне сказали, что, вернувшись из театра домой, она не перестает плакать.

– Ну, тут уж позвольте не поверить вам, ваше дражайшее величество, сказал Ламетри. – Вы навели ее, и, стало быть, она уже не плачет.

– Вам не терпится, Панург, узнать о цели моего визита. И вам тоже, д'Аржанс, хоть вы молчите и делаете вид, будто вас это не интересует. А может быть, и вам, дорогой Вольтер? Вы тоже не говорите ни слова, но, вероятно, думаете о том же.

– Можно ли не интересоваться тем, что считает нужным делать Фридрих Великий? – ответил Вольтер, видя, что король разговорился, и стараясь быть любезным. – Пожалуй, есть люди, которые не имеют права ничего утаивать от других, поскольку каждое их слово – пример и каждый поступок – образец.

– Дорогой друг, смотрите, как бы я не возгордился. Да и кто бы мог не возгордиться, когда его хвалит Вольтер? И тем не менее вы, конечно, подшучивали надо мной во время моего пятнадцатиминутного отсутствия. Однако не можете же вы предположить, что за эти пятнадцать минут я успел дойти до Оперы, где живет Порпорина, прочитать ей длинный мадригал и вернуться сюда пешком, – ибо я шел пешком.

– Ну, Опера находится совсем близко отсюда, – возразил Вольтер, – и вам вполне довольно четверти часа, чтобы выиграть сражение.

– Ошибаетесь, на это требуется значительно больше времени, – сдержанно ответил король. – Спросите у Квинта Ицилия или вот у маркиза – ему хорошо известно, как целомудренны актрисы, и он скажет вам, что требуется куда больше четверти часа, чтобы их покорить.

– Полноте, государь, это зависит от...

– Да, это зависит от многого, но хочу надеяться, что мадемуазель Кошуа досталась вам не так легко. Так вот, господа, я не видел сейчас мадемуазель Порпорину, а только справился у горничной о здоровье ее госпожи.

– Вы, государь! – вскричал Ламетри.

– Мне захотелось самому отнести ей флакон с лекарством. Я вспомнил, что оно очень помогало мне при спазмах желудка, от которых я несколько раз терял сознание. Что же вы молчите? Я вижу – вы остолбенели от изумления! По-видимому, вам хочется рассыпаться в похвалах моей доброте – отеческой и королевской, но вы не решаетесь, ибо в глубине души считаете меня смешным.

– Право же, государь, – сказал Ламетри, – если вы влюблены, как обыкновенный смертный, то я не вижу тут ничего дурного, и, по-моему, это не дает повода ни для похвал, ни для насмешек.

– Ну, нет, добрый мой Панург, уж если говорить откровенно, я вовсе не влюблен. Я обыкновенный смертный, это верно, но я не имею чести быть королем Франции, и галантные нравы, свойственные такому великому государю, как Людовик Пятнадцатый, были бы совсем не к лицу скромному маркизу Бранденбургскому. У меня есть дела поважнее, приходится работать не покладая рук, чтобы моя «бедная лавчонка» не захирела, и мне некогда почивать в рощах Киферы.

– В таком случае, мне непонятны ваши заботы об этой оперной певичке, – сказал Ламетри. – Быть может, это причуда меломана? А если и это не так, то я наотрез отказываюсь разгадать вашу загадку.

– Так или иначе, знайте, друзья мои, что я не любовник Порпорины и не влюблен в нее. Я просто очень расположен к ней, потому что однажды, даже не зная, кто я, она спасла мне жизнь. Рассказ об этом необыкновенном приключении отнял бы сейчас слишком много времени – я поделюсь им с вами как-нибудь в другой раз, а сегодня уже поздно, и господин Вольтер засыпает. Знайте только, что, если я здесь, а не в аду, куда меня хотел послать некий благочестивый субъект, этим я обязан Порпорине. Теперь вы поймете, почему, узнав о ее серьезной болезни, мне захотелось осведомиться, жива ли она, и отнести ей флакон с лекарством Шталя, не желая при этом прослыть в ваших глазах ни Ришелье, ни Лозеном. Итак, я прощаюсь с вами, друзья мои. Вот уже восемнадцать часов, как я не снимал сапог, а через шесть мне снова придется их надевать. Молю Бога, чтобы он удостоил вас своего святого покровительства, как пишут в конце письма...

В ту самую минуту, когда на больших башенных часах дворца пробило полночь и молодая светская аббатиса Кведлинбургская только что улеглась в свою розовую шелковую постель, главная камеристка принцессы, ставя на горностаевый коврик ее ночные туфельки, вдруг вздрогнула, и у нее вырвался возглас испуга: кто-то постучал в дверь спальни.

– Ты в своем уме? – спросила прекрасная Амалия, приоткрывая полог кровати. – Что это тебе вздумалось подпрыгивать и охать?

– Разве ваше королевское высочество не слышали стука?

– Стука? Так поди посмотри, кто там.

– Ах, принцесса, да разве хоть один живой человек осмелится стучать в дверь спальни вашего высочества в такой час? Ведь всем известно, что ваше высочество уже легли почивать.

– Ни один живой человек не осмелится, говоришь ты? Значит, это покойник. Так иди открой ему. Вот опять стучат. Иди же, не выводи меня из терпения.

Полумертвая от страха, камеристка неверным шагом побрела к двери и дрожащим голосом спросила: «Кто там?»

– Это я – госпожа фон Клейст, – ответил хорошо знакомый голос. – Если принцесса еще не спит, скажите, что у меня есть для нее важные новости.

– Скорей! Скорей! Впусти ее! – вскричала принцесса. – И оставь нас.

Как только аббатиса и ее любимица остались наедине, последняя села в ноги постели и сказала:

– Ваше королевское высочество были правы. Король до безумия влюблен в Порпорину, но еще не стал ее любовником, и, разумеется, благодаря этому пока что она имеет на него огромное влияние.

– Но каким образом тебе удалось узнать это за какой-нибудь час?

– Только что, когда я раздевалась, собираясь ложиться спать, моя горничная рассказала мне, что ее сестра служит камеристкой у этой самой Порпорины. Тут уж я начала ее выпрашивать, выпытывать подробности, и так, слово за слово, узнала, что она несколько минут назад была у сестры и встретила там с королем, выходящим от Порпорины.

– Ты уверена в этом?

– Моя горничная только что видела короля, как я вижу вас. Он даже заговорил с ней, приняв за сестру, а та в эту минуту была в другой комнате и ухаживала за своей госпожой, больной или мнимой больной – не знаю. Король осведомился о здоровье Порпорины с необыкновенной заботливостью. Он с огорчением топнул ногой, узнав, что она все время плачет. Он не стал просить позволения зайти к ней, боясь ее обеспокоить – таковы его собственные слова. Он передал для нее очень дорогой флакон, а уходя, приказал, чтобы утром больной сообщили, что в одиннадцать часов вечера он заходил проведать ее.

– Вот это так приключение! – воскликнула принцесса. – Я просто не верю своим ушам. А твоя субретка хорошо знает короля в лицо?

– Кто не знает короля в лицо! Ведь он постоянно разъезжает верхом. К тому же за пять минут до его прихода явился паж, чтобы узнать, нет ли у красотки какого-нибудь визитера. А в это время сам король, закутанный с ног до головы, стоял на улице внизу, соблюдая, по своему обыкновению, строжайшее инкогнито.

– Итак, таинственность, заботливость, а главное – уважение: тут любовь, милая фон Клейст, или я ничего в этом не смыслю! И ты прибежала сюда, несмотря на холод, на темноту, чтобы поскорее сообщить мне об этом! Ах, бедняжка моя, как ты добра!

– Скажите-ка еще – несмотря на привидения. Известно ли вам, что вот уже несколько ночей, как во дворце снова царит паника? Мой долговязый егерь – он провожал меня сюда – дрожал как осиновый лист, когда мы проходили с ним по коридорам.

– Кто же это? Опять белая женщина?

– Да, Женщина с метлой.

– На сей раз не мы затеяли эту игру, милая фон Клейст. Наши привидения далеко, дай-то бог, чтобы мы вновь увидели их.

– Сначала я думала, что это проделки короля, – ему удобно играть роль привидения, раз у него появились причины удалять со своего пути любопытных слуг. Но меня удивило то, что все эти бесовские бдения происходят не по соседству с его апартаментами и не на дороге, ведущей от него к Порпорине. Нет, духи разгуливают вокруг покоев вашего высочества, и теперь, когда я уже не участвую в этом, признаюсь, это немного пугает меня.

– Что за странные вещи ты говоришь, дитя мое! Как можешь ты верить в привидения? Тебе-то ведь хорошо известно, что это такое!

– В том-то и дело! Говорят, они очень сердятся на тех, кто им подражает, и в наказание начинают преследовать их.

– Если так, поздно же они спохватились – ведь они не трогали нас больше года. Полно, забудь об этих пустяках. Мы с тобой отлично знаем, что такое все эти «страждущие души». По-видимому, какой-нибудь паж или младший офицер, который ходит по ночам читать молитвы у ног самой хорошенькой из моих горничных. Поэтому старуха, у чьих ног давно уже никто не молится, была так перепугана, что я еле уговорила ее открыть тебе дверь. Впрочем, зачем

мы говорим об этом? Милая фон Клейст, у нас в руках тайна короля, надо воспользоваться ею. Но как, как взяться за дело?

– Надо забрать в руки эту Порпорину, и поскорее, пока благосклонность короля еще не сделала ее недоверчивой и тщеславной.

– Да, да, мы не будем скупиться ни на подарки, ни на обещания, ни на лесть. Ты завтра же пойдешь к ней, попросишь от моего имени... ну, ноты, автографы Порпоры. Должно быть, у нее есть много неизданных вещей итальянских мастеров. А взамен пообещаешь рукописные ноты Себастьяна Баха. У меня есть несколько экземпляров. Начнем с обмена нотами. Потом я попрошу ее прийти и позаниматься со мной. Ну, а уж когда мне удастся ее заполучить, я берусь обворовать ее и покорить.

– Завтра же утром, принцесса, я буду у нее.

– До свидания, фон Клейст. Поцелуй меня. Ты единственный мой друг. Иди к себе, ложись спать, а если встретишь Женщину с метлой, посмотри хорошенько, не выглядывают ли у нее из-под юбок шпоры.

ГЛАВА 4

На следующий день, проснувшись в изнеможении после тяжелого сна, Порпорина увидела на постели два предмета, положенные горничной: флакон из горного хрусталя с золотым фермуаром, на котором был выгравирован вензель «Ф», увенчанный королевской короной, и запечатанный сверток. На вопрос хозяйки горничная рассказала, что сам король приходил накануне вечером, чтобы передать этот флакон, и, узнав подробности его визита – столь почтительного, непритязательного и деликатного, Порпорина была растрогана. «Странный человек! – подумала она. – Как примирить такую доброту в частной жизни с жестокостью и деспотизмом в жизни общественной?» Задумавшись, она постепенно забыла о короле, а потом, начав размышлять о себе самой, смутно припомнила вчерашние события и вновь начала плакать.

– Что вы, мадемуазель? – воскликнула горничная, добрая, но болтливая девушка. – Вы опять будете плакать, как вчера вечером, перед тем как уснуть? Просто сердце разрывалось от ваших слез, и король – он ведь стоял за дверью и все слышал – несколько раз покачал головой, жалея вас. А ведь многие могут позавидовать вашей судьбе. Король ухаживает далеко не за всеми. Говорят даже, что он вообще ни за кем не ухаживал. Так что дело тут яснее ясного – он влюбился в вас.

– Влюбился! Как посмела ты произнести такое? – вскричала Порпорина, вся задрожав. – Никогда не повторяй этого неприличного и нелепого слова. Король влюбился в меня – о господи, что за вздор!

– А что, мадемуазель? Может, и так.

– Сохрани меня Бог! Но этого нет и никогда не будет. А это что за сверток, Катрин?

– Какой-то слуга принес его сегодня чуть свет.

– Чей слуга?

– Наемный. Сначала он не хотел говорить, кто его прислал, но в конце концов сознался, что его наняли люди графа де Сен-Жермена, который прибыл сюда только вчера.

– А почему ты стала расспрашивать его?

– Мне хотелось узнать, откуда он, мадемуазель.

– Это неумно. Оставь меня.

Как только горничная вышла, Порпорина развернула сверток и увидела пергамент, испещренный странными, неразборчивыми буквами. Она много слышала о графе де Сен-Жермене, но не была с ним знакома. Вертя в руках пергамент, рассматривая его со всех сторон и не понимая ни слова, она никак не могла уразуметь, почему этот человек, совершенно для нее чужой, прислал ей подобную загадку, а потому, как и многие другие, решила, что он просто сумасшедший. Однако, продолжая рассматривать посылку, она вдруг обнаружила отдельный листок и прочитала: «Принцесса Амалия Прусская весьма интересуется составлением гороскопов и искусством предсказания. Вручите ей этот пергамент, и вы можете рассчитывать на ее покровительство и расположение». Подписи на листке не было. Почерк был незнакомый, а на свертке не было адреса. Порпорина не понимала, почему граф де Сен-Жермен, желая передать что-то принцессе Амалии, обратился именно к ней, – ведь она даже не была знакома с принцессой. Решив, что слуга, принесший пакет, ошибся, она уже хотела вновь свернуть пергамент и отослать его. Но, взяв в руки лист толстой белой бумаги, в которую была завернута вся посылка, она вдруг заметила, что на другой стороне были напечатаны ноты. В ее памяти всплыл один эпизод. Разыскать в уголке листа условный значок, убедиться, что он написан карандашом ее собственной рукой полтора года назад, удостовериться, что нотный лист взят из тетради, которую она некогда отдала как опознавательный знак, было делом одной секунды, и умиление, которое она испытала, получив это напоминание об отсутствующем и несчастном друге, заставило ее забыть собственные горести. Оставалось узнать, что делать дальше с зага-

дочным свитком и с какой целью ей поручили передать его принцессе Прусской. Быть может, и в самом деле для того, чтобы снискать ей – ей самой – расположение и покровительство этой дамы? Но Порпорина совершенно не нуждалась ни в том, ни в другом. А быть может, для того, чтобы установить между принцессой и узником какие-то отношения, которые могли бы способствовать его спасению или облегчению его участи? Молодая девушка колебалась. Она вспомнила поговорку: «Если сомневаешься, воздержись». Но потом подумала, что есть поговорки хорошие, а есть плохие, причем одни служат осторожному эгоизму, а другие – отважной преданности. И она встала, говоря себе: «Если сомневаешься, действуй, коль скоро ты рискуешь только собой и надеешься быть полезной твоему другу, твоему ближнему».

С некоторой медлительностью заканчивая туалет – после припадка, случившегося с ней накануне, она чувствовала себя слабой и разбитой – и закалывая свои прекрасные черные волосы, она думала о том, как бы поскорее и понадежнее переправить посылку принцессе, когда раздался стук и высокий лакей в галунах пришел узнать, одна ли она и может ли принять даму, которая желает с ней переговорить, не называя себя. Молодая певица нередко проклинала зависимость от высокопоставленных особ, в какой жили в ту пору артисты; у нее появилось искушение отослать бесцеремонную даму, передав через горничную, что у нее сейчас находятся ее коллеги певцы, но потом ей пришло в голову, что если такой способ и может отпугнуть некоторых жеманниц, то других женщин, напротив, он заставит быть еще назойливее. Поэтому, покоровшись судьбе, она решила принять гостью, и вскоре перед ней оказалась госпожа фон Клейст.

Эта изысканно одетая великосветская дама явилась с намерением обворозить певицу и заставить ее забыть различие их положения. Но она была смущена, так как, с одной стороны, слышала, что молодая девушка очень горда, а с другой, будучи от природы крайне любопытной, хотела заставить Порпорину разговориться и проникнуть в самые сокровенные ее мысли. Поэтому, несмотря на добросердечие и отзывчивость этой красивой дамы, в ее облике и поведении было сейчас что-то неискреннее, натянутое, и это не ускользнуло от Порпорины. Любопытство так близко примыкает к вероломству, что оно может обезобразить самые прекрасные лица.

Порпорине была хорошо знакома наружность госпожи фон Клейст, и в первую минуту, увидев у себя особу, которая на каждом оперном спектакле появлялась в ложе принцессы Амалии, она хотела было под предлогом интереса к некромантии попросить свою гостью устроить ей свидание с принцессой, которая, по слухам, была большой поклонницей этого искусства. Однако, не смея довериться особе, слышавшей несколько экстравагантной и, сверх того, склонной к интригам, она решила выждать и, в свою очередь, принялась наблюдать за ней с той спокойной проницательностью обороняющейся стороны, которая способна отразить все нападки тревожного любопытства.

Наконец лед был сломан, и, когда гостя передала просьбу принцессы прислать ей еще не изданные партитуры, певица, стараясь скрыть радость, какую ей доставило столь удачное стечение обстоятельств, побежала разыскивать их. И вдруг ее осенило.

– Сударыня! – воскликнула она. – Я охотно сложу все мои скромные сокровища к ногам ее высочества и была бы счастлива, если бы она приняла их из моих рук.

– Вот как, милое дитя, – сказала госпожа фон Клейст, – вы желаете лично побеседовать с ее королевским высочеством?

– Да, сударыня, – ответила Порпорина. – Я хотела бы смиренно попросить принцессу об одной милости, и уверена – она не откажет мне. Я слышала, что она сама искусная музыкантша и, по всей вероятности, покровительствует артистам. Я слышала также, что она столь же добра, сколь прекрасна. Поэтому я надеюсь, что, если принцесса соизволит выслушать меня, она поможет мне добиться того, чтобы его величество король снова пригласил сюда моего учителя, знаменитого Порпору. Ведь он был приглашен в Берлин с согласия его величества, а на самой

границе его прогнали, даже выслали, придравшись к какой-то неправильности в его бумагах. Однако, несмотря на все заверения и обещания его величества, я так и не смогла добиться конца этой нескончаемой истории. Я больше не смею надоедать королю просьбой, которая, как видно, не слишком его интересует и о которой – я уверена – он совершенно забыл. Вот если бы принцесса соблаговолила сказать несколько слов тем должностным лицам, которым поручено отправить необходимые документы, я обрела бы счастье наконец-то соединиться с моим приемным отцом – единственной моей опорой в этом мире.

– То, что вы сказали, бесконечно меня удивило! – воскликнула госпожа фон Клейст. – Как, прелестная Порпорина, чье влияние на государя я считала неограниченным, вынуждена обращаться к чужой помощи, чтобы добиться такой мелочи? Если так, позвольте мне предположить, что его величество опасается найти в лице вашего приемного отца, как вы его назвали, чересчур бдительного стража или советчика, который может восстановить вас против него.

– Графиня, я тщетно стараюсь понять слова, которые вы изволили произнести, – ответила Порпорина так серьезно, что госпожа фон Клейст пришла в замешательство.

– Ну, стало быть, я ошиблась, считая, что король питает к всемирно известной певице величайшую благосклонность и безграничное восхищение.

– Достойной госпоже фон Клейст не подобает насмехаться над скромной артисткой, которая никому не причиняет зла.

– Насмехаться! Да кто же станет насмехаться над таким ангелом! Вы, мадемуазель, просто не знаете себе цены, и ваше чистосердечие преисполняет меня изумлением и восторгом. Я убеждена, что вы сразу покорите принцессу: она всегда поддается первому впечатлению. Стоит ей увидеть вас вблизи, и она тотчас влюбится в вас, как уже влюблена в ваш талант.

– А мне говорили, графиня, что, напротив, ее королевское высочество всегда отзывается обо мне весьма сурово, что мое незначительное лицо имело несчастье не понравиться ей и что она совсем не одобряет мою методику пения.

– Кто мог сказать вам такую ложь?

– Если это ложь, то солгал король, – не без лукавства ответила Порпорина.

– Это была ловушка, попытка испытать вашу доброту и кротость, – возразила госпожа фон Клейст. – Но мне не терпится доказать вам, что я, простая смертная, не имею права лгать, как лжет насмешник король, и я хочу сейчас же увезти вас в своей карете, чтобы вместе с вашими партитурами доставить к принцессе.

– И вы думаете, графиня, что она окажет мне любезный прием?

– Положитесь на меня.

– А если вы все-таки ошибаетесь, графиня, на чью голову падет унижение?

– На мою, только на мою. Я дам вам право рассказывать где угодно, что я похваляюсь расположением принцессы, а она не питает ко мне ни уважения, ни дружбы.

– Я еду с вами, графиня, – сказала Порпорина и позвонила, чтобы ей принесли муфту и мантилью. – Мой туалет очень скромен. Но вы застали меня врасплох.

– Вы очаровательны и в таком наряде, а нашу дорогую принцессу вы увидите в еще более скромном утреннем платье. Идемте!

Порпорина положила в карман таинственный сверток, захватила партитуры и решительно села в карету рядом с госпожой фон Клейст, мысленно повторяя: «Ради человека, рисквавшего из-за меня жизнью, я могу пойти на унижительное и бесплодное ожидание в передней какой-то принцессы».

Порпорину провели в туалетную комнату ее высочества, и она ждала там минут пять, пока аббатиса и ее наперсница беседовали в соседней комнате.

– Принцесса, я привезла ее, она здесь.

– Уже? О искусная посланница! Как надо принять ее? Какова она?

– Сдержанна и осторожна, а может быть, простовата. Очень скрытна или просто глупа.

– Ну, в этом мы сумеем разобраться! – вскричала принцесса, и в глазах ее загорелся огонек, говорящий о привычке изучать и подозревать. – Пусть войдет!

Между тем Порпорина, ожидавшая в туалетной комнате, с изумлением рассматривала собрание самых удивительных предметов, когда-либо украшавших святилище красивой женщины и к тому же принцессы: глобусы, компасы, астрологии, астрологические карты, сосуды с неизвестной жидкостью, черепа, – словом, весь набор, потребный для колдовства. «Мой друг не ошибся, – подумала Порпорина, – людям хорошо известно, чем занимается сестра короля. И, кажется, она не делает из этих занятий тайны, если эти странные вещи лежат на самом виду. Итак, смелее».

Аббатисе Кведлинбургской было в ту пору лет двадцать восемь – тридцать. Когда-то она была божественно хороша. Она бывала хороша еще и сейчас – вечером, при свете ламп и на расстоянии, но, увидев ее при дневном свете и так близко, Порпорина удивилась ее поблекшему, угреватому лицу. Голубые глаза, бывшие прежде прекраснейшими в мире, теперь были красны, казались заплаканными, и в их прозрачной глубине притаился болезненный блеск, не суливший ничего хорошего. Некогда она была любимицей своей семьи, всего двора и в течение долгого времени считалась самой приветливой, жизнерадостной, ласковой и привлекательной королевской дочкой, какие когда-либо встречались на страницах старинных романов из жизни аристократов. Но вот уже несколько лет, как характер ее изменился и вместе с тем потускнела ее красота. У нее бывали теперь припадки дурного расположения духа, даже злобы, и в эти минуты она как бы повторяла самые скверные черты характера Фридриха. Хотя она отнюдь не стремилась подражать брату и даже втайне его порицала, ее непреодолимо влекло к тем самым порокам, которые она в нем осуждала, и постепенно Амалия превращалась в надменную, не терпящую возражений властительницу, в женщину образованную, но ограниченную и высокомерную, с умом скептическим и желчным. И, однако, сквозь эти ужасные недостатки, которые, к несчастью, усиливались с каждым днем, все еще пробивались прямодушие, чувство справедливости, сильный дух, пылкое сердце. Что же происходило в душе несчастной принцессы? Страшное горе терзало ее, а ей приходилось прятать его в своей груди и стойчески выносить его, притворяясь веселой перед лицом любопытного, злорадного или равнодушного света. Вот почему, вынужденная румянить щеки и принуждать сердце, она сумела выработать в себе два совершенно различных существа: одно из них она скрывала почти от всех, а другое выставляла напоказ с ненавистью и отчаянием. Все заметили, что ее беседа стала более живой и блестящей, но эта беспокойная и натянутая веселость производила тягостное впечатление, вызывала какое-то необъяснимое леденящее чувство, граничившее со страхом. То чувствительная до ребячества, то холодная до жестокости, она удивляла окружающих и даже самое себя. Потoki слез гасили по временам пламя ее гнева, но внезапные пароксизмы свирепой иронии, нечестивого высокомерия вырывали ее из состояния этой благотворной слабости, которую ей не дозволено было поддерживать в себе и обнаруживать при других.

Первое, что бросилось в глаза Порпорине, когда она увидела принцессу, была эта своеобразная двойственность ее натуры. У принцессы были два облика, два лица – одно ласковое, другое угрожающее, два голоса – один нежный и гармоничный, как бы дарованный небом для дивного пения, другой хриплый, жесткий, словно исходящий из груди, сжигаемой дьявольским огнем. С изумлением глядя на это странное существо, наша героиня, переходя от страха к сочувствию, спрашивала себя, кто из двоих сейчас подчинит и покорит ее – добрый гений или злой.

Принцесса тоже всматривалась в Порпорину, и та показалась ей гораздо более опасной, чем она предполагала. Она надеялась, что без театрального костюма, без грима, который, что бы там ни говорили, сильно уродует женщин, Консуэло окажется такой, какой для ее успокоения певицу описала госпожа фон Клейст: скорее дурнушкой, нежели миловидной. Но этот

смуглый и бледный цвет кожи, гладкой и чистой, черные глаза, выражавшие твердость и нежность, правдивый рот, гибкий стан, естественные, непринужденные движения, словом, весь облик этого честного, доброго создания, которое излучало спокойствие и какую-то внутреннюю силу – следствие прямодушия и истинного целомудрия, внушил беспокойной Амалии невольное почтение и даже чувство стыда, подсказавшее ей, что перед этим благородством все ее ухищрения окажутся бессильны.

Молодая девушка заметила усилия принцессы скрыть свое смущение и, разумеется, не могла не удивиться, что столь высокопоставленная особа робеет в ее присутствии. Чтобы оживить разговор, то и дело угасавший, она раскрыла ту из принесенных партитур, в которую спрятала кабалистическое письмо, и постаралась подложить ее таким образом, чтобы начертанные на листке крупные буквы бросились принцессе в глаза. Как только ей это удалось, она протянула руку, словно удивляясь, как попал сюда этот листок, и хотела его забрать, но аббатиса поспешно схватила его с возгласом:

– Что это? Ради Бога, как попала к вам эта бумага?

– Ваше высочество, – с многозначительным видом ответила Порпорина, – признаюсь, что я хотела показать вам эту астрологическую таблицу в случае, если бы вы пожелали расспросить меня о некоем обстоятельстве, которое мне небезызвестно.

Принцесса устремила на певицу жгучий взгляд, потом опустила глаза на магические письмена, подбежала к оконной амбразуре, с минуту вглядывалась в загадочный листок и вдруг, громко вскрикнув, как подкошенная упала на руки бросившейся к ней госпоже фон Клейст.

– Выйдите отсюда, мадемуазель, – поспешно сказала Порпорине приближенная принцессы, – пройдите в соседнюю комнату. И никому ничего не говорите, никого не зовите, никого – слышите?

– Нет, нет, пусть она останется... – слабым голосом проговорила принцесса. – Пусть подойдет поближе... сюда, ко мне. Ах, дитя мое, – воскликнула она, когда молодая девушка подошла к ней, – какую услугу вы мне оказали!

И, обняв Порпорину своими худыми белыми руками, принцесса с судорожной силой прижала ее к сердцу и осыпала градом отрывистых, похожих на укусы поцелуев, от которых у бедняжки заболело лицо и сжалось сердце.

«Решительно, эта страна доводит людей до безумия, – подумала она. Мне и самой уже несколько раз казалось, что я схожу с ума, но, оказывается, самые высокопоставленные особы еще более безумны, чем я. Безумие носится здесь в воздухе».

Принцесса наконец оторвала руки от ее шеи и тут же обняла госпожу фон Клейст, обливаясь слезами, всхлипывая и повторяя еще более хриплым голосом:

– Спасен! Спасен! Мои дорогие, мои добрые подруги, Тренк бежал из крепости Глац. Он в пути, он все еще бежит, бежит!..

И несчастная принцесса судорожно захохотала, перемежая смех рыданиями. На нее больно было смотреть.

– Ах, принцесса, ради всего святого, обуздайте свою радость! – вскричала госпожа фон Клейст. – Будьте осторожны – вас могут услышать!

И, подобрав с полу мнимую кабалистическую грамоту, оказавшуюся зашифрованным письмом барона Тренка, она вместе со своей госпожой снова начала читать его, причем чтение тысячу раз прерывалось возгласами неистовой, исступленной радости принцессы.

ГЛАВА 5

«Подкупив нижние чины гарнизона крепости благодаря средствам, доставленным моей несравненной подругой, я сговорился с узником, жаждущим свободы не менее меня, свалил ударом кулака одного стражника, пинком ноги другого и хорошим ударом шпаги третьего, спрыгнул с высокого вала, предварительно столкнув вниз приятеля, – он не сразу решился на прыжок, а при падении вывихнул ногу, – взвалил его на спину и, пробежав четверть часа с этой ношей, перебрался через Нейсе по поясу в воде в густом тумане, а затем продолжал бежать и на другом берегу, и прошагал так всю ночь – ужасную ночь!.. Сбившись с пути, я долго кружил по снегу вокруг какой-то незнакомой горы и вдруг услышал, как бьет четыре часа утра на башне Глаца – то есть даром потерял время и силы, чтоб на рассвете снова оказаться у городских стен!.. Собравшись с духом, я зашел в дом к неизвестному крестьянину и, приставив к его груди пистолет, увел двух лошадей, а потом умчался во весь опор куда глаза глядят; с помощью тысячи хитростей, опасностей, мучений я завоевал свободу и наконец в страшный мороз оказался в чужой стране, без денег, без одежды, почти без хлеба. Но чувствовать себя свободным после того, как тебя приговорили к ужасному пожизненному заключению; думать о том, как обрадуется обожаемая подруга, узнав эту новость; строить множество дерзких и восхитительных планов, как увидеться с ней, – это значит быть счастливее Фридриха Прусского, значит быть счастливейшим из смертных, значит быть избранником судьбы».

Вот что писал молодой Фридрих фон Тренк принцессе Амалии, и легкость, с которой госпожа фон Клейст читала письмо, показала удивленной и растроганной Порпорине, что такого рода переписка с помощью нотных тетрадей была для них привычной. Письмо оканчивалось постскриптумом: «Особа, которая вручит вам это письмо, столь же надежна, сколь ненадежны были другие. Можете доверять ей безгранично и передавать все послания ко мне. Граф де Сен-Жермен поможет ей переправлять их. Однако необходимо, чтобы вышеназванный граф, которому я доверяю лишь до известного предела, никогда и ничего не слышал о вас и чтобы он считал меня влюбленным в синьору Порпорину, хотя это неправда и я никогда не питал к ней иных чувств, кроме спокойной, чистой дружбы. Пусть же ни одно облачко не затуманит прелестного чела той, кого я боготворю. Я дышу для нее одной и скорее согласился бы умереть, нежели изменить ей».

В то время как госпожа фон Клейст вслух расшифровывала этот постскриптум, делая ударение на каждом слове, принцесса Амалия внимательно изучала лицо Порпорины, пытаясь обнаружить на нем выражение боли, унижения или досады. Ангельская безмятежность этого благородного создания совершенно ее успокоила, и она снова начала осыпать девушку ласками, восклицая:

– А я-то смела подозревать тебя, бедная крошка! Ты не знаешь, как я ревновала, как ненавидела тебя, как проклинала! Мне хотелось, чтобы ты оказалась дурнушкой и плохой актрисой именно потому, что я боялась увидеть тебя чересчур красивой и чересчур доброй. Ведь мой брат, опасаясь, что я подружусь с тобой, только делал вид, будто хочет пригласить тебя на мои концерты, а сам наговорил мне, будто бы в Вене ты была возлюбленной, кумиром Тренка. Он прекрасно знал, что таким способом навсегда отдалит меня от тебя. И я верила ему, меж тем как ты подвергаешь себя величайшим опасностям, чтобы только принести мне эту счастливую весть! Так ты не любишь короля? Ах, как ты права, ведь нет человека более развращенного, более жестокого!

– Принцесса, принцесса! – вмешалась госпожа фон Клейст, испуганная чрезмерной откровенностью и лихорадочным воодушевлением аббатисы Кведлинбургской. – Какую опасность могли бы вы навлечь на себя в эту минуту, не будь мадемуазель Порпорина ангелом мужества и преданности!

– Да, да... я в таком состоянии... Кажется, я совсем потеряла голову. Хорошенько закрой двери, фон Клейст, но прежде взгляни, не мог ли кто-нибудь подслушать меня в передней. Что касается этой девушки, – добавила принцесса, указывая на Порпорину, – посмотри на ее лицо и скажи, возможно ли сомневаться в ней. Нет, нет! Я не так неосторожна, как кажется, дорогая Порпорина. Не думайте, что я открыла вам сердце лишь в минуту смятения и что буду раскаиваться в этом, когда приду в себя. У меня безошибочный инстинкт, дитя мое. Глаз еще никогда не обманывал меня. Это у нас в роду, но мой брат король, который всегда похвально своим чутьем, не может со мной сравниться в этом отношении. Нет, вы не предадите меня, я вижу, я знаю это!.. Вы не захотите обмануть женщину, страдающую несчастной любовью, женщину, которая испытывает такие муки, каких никто не может даже вообразить себе.

– О нет, принцесса, никогда! – сказала Порпорина, опускаясь перед ней на колени и словно призывая Бога в свидетели своей клятвы. – Ни вас, ни Фридриха фон Тренка, спасшего мне жизнь, да и вообще никого в мире!

– Он спас тебе жизнь? О, я уверена, что не тебе одной! Он такой храбрый, такой добрый, такой красивый! Он очень хорош собой, правда? Но, должно быть, ты не рассмотрела его как следует, не то непременно влюбилась бы, а ты ведь не влюблена в Тренка, нет? Ты еще расскажешь мне, как вы познакомились и каким образом он спас тебе жизнь, но только не сейчас. Сейчас я не смогу слушать тебя, я должна говорить сама, мое сердце переполнено до краев – уже так давно оно сохнет у меня в груди! Я хочу говорить, говорить без конца, оставь меня в покое, фон Клейст. Моя радость должна излиться, иначе меня разорвет на куски. Но только закрой двери, встань на страже, оберегай меня. Пожалейте меня, мои дорогие подруги, ведь я так счастлива!

И принцесса залилась слезами.

– Так знай же, – продолжала она через несколько мгновений прерывающимся от рыданий голосом, но все с тем же возбуждением, – что он понравился мне с первого дня нашего знакомства. Ему было тогда восемнадцать лет, он был божественно красив и так хорошо образован, чистосердечен, храбр! Меня хотели выдать замуж за шведского короля. Не тут-то было! А моя сестра Ульрика кусает ногти с досады, что вот я стану королевой, а она остается в девицах. «Милая сестра, – говорю я ей, – есть способ уладить это дело ко всеобщему удовольствию. Правители Швеции желают иметь королеву-католичку, а я не желаю отречься от своей веры. Им нужна покладистая, кроткая королева, чуждая политики, а если королевой стану я, то захочу властвовать. Стоит мне высказать все это посланникам, и завтра же они напишут своему государю, что для Швеции подойдишь ты, а не я». Сказано – сделано, и теперь моя сестра – шведская королева. С этого дня я начала притворяться и притворяюсь ежедневно до сих пор. Ах, Порпорина, вы думаете, что вы актриса? Нет, вы не знаете, что значит всю свою жизнь играть роль, играть ее утром, днем и нередко даже ночью. Ибо нет человека, который бы не подсматривал за нами, не старался бы угадать наши мысли и предать нас. Мне пришлось делать вид, будто я огорчена и раздосадована, когда сестра благодаря моим же стараниям отняла у меня шведский трон. Мне пришлось делать вид, будто я ненавижу Тренка, будто нахожу его смешным, чуть ли не издеваюсь над ним и бог знает что еще!.. И это в то время, когда я его боготворила, была его любовницей, задыхалась от упоения и счастья так же, как задыхаюсь сейчас!.. Ах, нет, уввы! – больше, чем сейчас!.. Но Тренк не обладал моей силой духа и моей осторожностью. Он не был рожден принцем и не умел притворяться и лгать, как умела я. Король узнал обо всем и, по обычаю королей, солгал, притворившись, будто ничего не замечает. Однако он стал преследовать Тренка, и этот красавец паж, его любимец, сделался предметом его ненависти и злобы. Он старался всячески его унижить, он не знал жалости по отношению к нему. Семь дней из восьми Тренк проводил под арестом. Но на восьмой он снова был в моих объятиях, ибо он ничего не боится, ни от чего не падает духом. Ну, можно ли не преклоняться перед таким мужеством? Так вот, король придумал послать его с поручением за границу. А когда Тренк

выполнил его столь же искусно, сколь и быстро, брат имел низость обвинить его в том, что якобы он передал планы наших крепостей и выдал военные тайны своему двоюродному брату Тренку-пандуру, состоящему на службе у Марии-Терезии. То был способ не только разлучить нас навеки, осудив его на пожизненное заключение, но и обесчестить его, заставить погибнуть от горя, отчаяния и гнева в ужасной темнице. Теперь скажи, могу ли я почитать и благословлять моего брата. Говорят, он великий человек. А я говорю вам, он чудовище! О девочка, остерегайся полюбить его, он сломает тебя, как тростинку! Но надобно притворяться, все время притворяться! В той атмосфере, где мы живем, даже дышать приходится украдкой. И я притворюсь, что боготворю своего брата. Я его любимая сестра, все знают это или думают, что знают... Он осыпает меня знаками внимания. Он собственноручно собирает для меня вишни в садах Сан-Суси и отказывает в них даже самому себе, хоть любит их больше всего на свете, но перед тем как передать корзинку пажу, которому ведено принести ее мне, он пересчитывает вишни, чтобы паж не съел хоть одну по дороге. Какая нежная заботливость! Какое простодушие, достойное Генриха Четвертого и короля Рене! И в то же время он держит моего возлюбленного в подземелье и старается обесчестить его в моих глазах, чтобы наказать за то, что я любила его! До чего же он великодушен, мой добрый брат! И как мы любим друг друга!..

Говоря это, принцесса побледнела, голос ее зазвучал слабее и угас, глаза остановились и, казалось, готовы были выскочить из орбит; застыв на месте, она умолкла и совсем побелела. Она была без чувств. Испуганная Порпорина помогла госпоже фон Клейст расшнуровать ее корсаж и перенести на постель; здесь она немного пришла в себя и снова начала шептать какие-то невнятные слова.

– Благодарение небу, припадок сейчас пройдет, – сказала госпожа фон Клейст певице. – Когда она полностью придет в себя, я позову горничных. А вам, милое дитя, надо непременно перейти в музыкальный салон и спеть что-нибудь, чтобы вас слышали стены, а вернее, слуги, сидящие в передней. Ведь король неминуемо узнает, что вы приходили сюда, и он должен думать, что вы занимались с принцессой только музыкой. Принцесса скажется больной, и это поможет ей скрыть свою радость. Никто не должен заметить, что она знает о побеге Тренка. И вам тоже нельзя этого знать. Сейчас, несомненно, король уже осведомлен обо всем. Он будет не в духе и станет подозревать всех и вся. Берегитесь! Если он узнает, что это вы передали письмо принцессе, мы погибнем обе – и я, и вы. В этой стране женщины так же легко попадают в крепость, как и мужчины. Их умышленно забывают там – совсем так же, как мужчин. И они умирают там, тоже как мужчины. Я предупредила вас, прощайте. Спойте что-нибудь, а потом уходите без шума, но и без особой тайнственности. Мы не увидимся с вами целую неделю – этого требует осторожность. Можете рассчитывать на признательность принцессы. Она очень щедра и умеет вознаграждать преданность...

– Ах, сударыня, – с грустью возразила Порпорина. – Вы, стало быть, думаете, что на меня могут повлиять угрозы и обещания? Мне жаль вас, если у вас такие мысли.

Разбитая от усталости и волнений, которые она только что пережила вместе с принцессой, и еще не оправившись от собственного вчерашнего потрясения, Порпорина все же села за клавесин и начала петь, как вдруг дверь за ее спиной бесшумно отворилась, и в зеркале, возле которого стоял инструмент, она внезапно увидела рядом со своим отражением фигуру короля. Вздвигнув, она приподнялась, но король опустил свои жесткие пальцы на ее плечо, как бы приказывая ей снова сесть и продолжать петь. Очень неохотно, со стесненным сердцем, она заставила себя повиноваться. Никогда еще она не чувствовала себя менее расположенной петь, никогда присутствие Фридриха не казалось ей более замораживающим, более несовместимым с музыкальным вдохновением.

– Исполнение было превосходно, – сказал король закончившей свой отрывок Порпорине, которая во время пения с ужасом наблюдала, как король на цыпочках подходил к полуотворенной двери спальни своей сестры, стараясь услышать, что там происходит. – К сожалению

нию, – добавил он, – я заметил, что ваш прекрасный голос звучал сегодня не так хорошо, как обычно. Вам бы следовало отдыхать, а не приходиться сюда, повинувшись непонятному капризу принцессы Амалии, которая послала за вами, а сама даже не слушает вас.

– Ее королевское высочество внезапно почувствовала себя дурно, – ответила молодая девушка, напуганная суровым и мрачным тоном короля, – и мне было приказано продолжать петь, чтобы развлечь ее.

– Уверяю вас, что это напрасный труд и она вовсе не слушает вас, – сухо возразил король. – Она сидит там и, как ни в чем не бывало, шепчется с госпожой фон Клейст. А если так, мы тоже можем пошептаться здесь с вами, не обращая на них внимания. Ее болезнь представляется мне не слишком серьезной. По-видимому, особы вашего пола необыкновенно быстро переходят от одной крайности к другой. Вчера вечером вы чуть ли не умирали. Кто бы мог вообразить, что сегодня утром вы придете сюда ухаживать за моей сестрой и развлекать ее? Не будете ли вы любезны объяснить мне, каким чудом вы здесь оказались?

Ошеломленная вопросом, Порпорина мысленно молила небо вразумить ее.

– Государь, – сказала она, сиюсь казаться спокойной, – я и сама не совсем понимаю, как это произошло. Сегодня утром мне сообщили о желании принцессы иметь вот эту партитуру. Я подумала, что должна принести ноты сама, предполагая оставить их в передней и тотчас уйти. Здесь меня увидела госпожа фон Клейст. Она доложила обо мне принцессе Амалии, и, как видно, ее высочеству захотелось посмотреть на меня вблизи. Мне было велено войти в комнату. Принцесса удостоила меня беседой и стала расспрашивать о характере различных музыкальных отрывков. Потом ей стало нехорошо, и она решила лечь, а мне приказала выйти и спеть вот эту арию. Теперь, я думаю, меня соблаговолит отпустить на репетицию.

– Еще рано, – сказал король. – Не знаю, почему это вам так не терпится уйти, когда я желаю побеседовать с вами.

– Потому что в присутствии вашего величества я всегда боюсь оказаться лишней.

– Моя милая, у вас нет здравого смысла.

– Тем более, государь!

– Вы останетесь здесь, – сказал король, снова усадив ее за фортепьяно и встав напротив.

А потом, устремив на нее не то отеческий, не то инквизиторский взгляд, спросил:

– Правда ли все, что вы мне тут наговорили?

Порпорина превозмогла отвращение, которое ей внушала ложь. Она уже не раз говорила себе, что будет искренна с этим страшным человеком во всем, что касается ее самой, но сумеет солгать, если ложь понадобится для спасения его жертв. И вот критическая минута, когда благосклонность властелина могла превратиться в ярость, неожиданно настала. Она охотно пожертвовала бы этой благосклонностью, только бы не унижаться до притворства, но от ее находчивости и присутствия духа зависели сейчас и участь Тренка и участь принцессы. Призвав на помощь все свое искусство актрисы, она с лукавой улыбкой выдержала орлиный взгляд короля. Впрочем, в эту минуту его взгляд скорее напоминал ястребиный.

– Ну, – сказал король, – почему же вы не отвечаете?

– А зачем его величеству королю угодно пугать меня, делая вид, что он сомневается в моих словах?

– У вас отнюдь не испуганный вид. Напротив. Сегодня вы смотрите на меня чрезвычайно смело.

– Государь, боишься только того, кого ненавидишь. Зачем же вам желать, чтобы я боялась вас?

Фридриху пришлось призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не уступить волнению, вызванному этим ответом – самым кокетливым из всех, каких ему до сих пор удавалось добиться от Порпорины. И, по своему обыкновению, он сейчас же переменял разговор, что само по себе является большим искусством, куда более трудным, чем принято думать.

- Почему вчера вечером вы упали в обморок, будучи на сцене?
 - Государь, это никак не может интересовать ваше величество и касается только меня одной.
 - Какое это блюдо вам подали сегодня на завтрак, что у вас так развязался язык?
 - Я вдохнула запах некоего флакона и уверовала в доброту и справедливость того, кто принес его мне.
 - Ах вот как! Вы приняли это за декларацию? – сказал Фридрих холодно и с каким-то циничным презрением.
 - Боже упаси, нет! – с непритворным ужасом ответила Порпорина.
 - Почему вы сказали: «Боже упаси»?
 - Потому что знаю, что декларации вашего величества носят чисто военный характер, даже когда они относятся к дамам.
 - Вы не русская царица и не Мария-Терезия, какую же войну мог бы я объявить вам?
 - Войну льва с мушкой.
 - А какая муха укусила сегодня вас, если вы осмеливаетесь сослаться на подобную басню? Ведь мушка погубила льва, преследуя его.
 - Ну, это был, наверное, какой-нибудь жалкий лев, рассерженный, а потому слабый. Могла ли я вспомнить об этом нравоучительном конце?
 - А мушка была жестокой и больно кусалась. Пожалуй, это нравоучение скорее подходит вам.
 - Вы так полагаете, ваше величество?
 - Да.
 - Государь, вы говорите неправду.
- Фридрих схватил молодую девушку за руку и судорожно, до боли, сжал ее. В этом странном порыве гнев сочетался с любовью. Порпорина не изменилась в лице, и, глядя на ее покрасневшую, опухшую руку, король добавил:
- У вас есть мужество!
 - Не такое уж большое, государь, но я не притворяюсь, будто у меня его нет, как это делают все те, кто вас окружает.
 - Что вы хотите этим сказать?
 - Что человек часто притворяется мертвым, чтобы не быть убитым. Будь я на вашем месте, мне бы не хотелось слыть такой грозной.
 - В кого вы влюблены? – спросил король, снова меняя разговор.
 - Ни в кого, государь.
 - Если так, отчего у вас бывают нервные припадки?
 - Это не имеет значения для судеб Пруссии, а следовательно, королю незачем это знать.
 - Так вы думаете, что с вами говорит король?
 - Я никогда не смела бы забыть об этом.
 - И все-таки должны забыть. Король никогда не станет разговаривать с вами – ведь жизнь вы спасли не королю.
 - Но я не вижу здесь барона фон Крейца.
 - Это упрек? Если так, вы несправедливы. Не король приходил вчера справляться о вашем здоровье. У вас был капитан Крейц.
 - Это различие чересчур тонко для меня, господин капитан.
 - Так постарайтесь научиться замечать его. Посмотрите – когда я надену шляпу вот так, чуть-чуть на левый бок, я буду капитаном, а когда вот эдак, на правый, буду королем. А вы, в соответствии с этим, будете то Консуэло, то мадемуазель Порпориной.
 - Я вас поняла, государь, но увы! Для меня это невозможно. Ваше величество может быть кем угодно – двумя лицами, тремя, сотней лиц, я же умею быть только самой собой.

– Неправда! В театре, при ваших товарищах актерах, вы бы не стали говорить со мной так, как говорите здесь.

– Не будьте так уверены в этом, государь.

– Да что это с вами? Видно, сам дьявол вселился в вас сегодня?

– Дело в том, что шляпа вашего величества не сдвинута сейчас ни вправо, ни влево, и я не знаю, с кем говорю.

Покоренный обаянием Порпорины, которое он особенно остро ощутил в эту минуту, король с добродушно-веселым видом поднес руку к шляпе и так сильно сдвинул ее на левое ухо, что его грозное лицо сделалось смешным. Ему очень хотелось, насколько это было в его силах, разыграть роль простого смертного и короля, отпущенного на каникулы, но внезапно он вспомнил, что пришел сюда вовсе не для развлечения, а затем, чтобы проникнуть в тайны аббатисы Кведлинбургской, и сердитым, резким движением окончательно снял шляпу; его улыбка исчезла, лоб нахмурился, он встал и, бросив певице: «Будьте здесь, я приду за вами», прошел в спальню принцессы, которая с трепетом ждала его появления. Слыша, что король беседует с Порпориной, но не смея отойти от постели своей госпожи, госпожа фон Клейст пыталась подслушать их разговор, но тщетно – покои аббатисы были чересчур велики, ей не удалось уловить ни слова, и она еле дышала от страха.

Порпорина тоже дрожала при мысли о том, что может сейчас произойти. Обычно серьезная, почтительная и искренняя в беседе с королем, на этот раз, желая отвлечь его от опасного вопроса, она заставила себя быть с ним притворно кокетливой и, пожалуй, излишне бойкой. Она надеялась, что таким образом оградит от мучений его несчастную сестру. Но Фридрих был не таким человеком, чтобы отказаться от своих намерений, и все усилия бедняжки разбились об упорство деспота. Она мысленно поручила принцессу Амалию Богу, ибо прекрасно поняла, что, приказывая ей остаться, король хотел сопоставить ее объяснения с теми, какие были приготовлены в соседней комнате. И еще более убедилась в этом, увидев, как тщательно он закрыл за собой дверь. В томительном ожидании просидела она около четверти часа, лихорадочно взволнованная и напуганная интригой, в которую ее втянули, недовольная ролью, какую ей пришлось сыграть, с ужасом припоминая намеки о вероятной любви к ней короля, – а эти намеки начинали теперь доходить до нее со всех сторон, – и сопоставляя с ними возбуждение, проскользнувшее только что в его странных речах и как будто подтверждающее эту догадку.

ГЛАВА 6

Но великий Боже, разве изобретательность самого грозного доминиканца, будь он даже великим инквизитором, способна бороться с изобретательностью трех женщин, если любовь, страх и дружба подсказывают каждой из них один и тот же путь? Тщетно применял Фридрих самые разнообразные способы – ласковую любезность, оскорбительную иронию, неожиданные вопросы, притворное равнодушие, косвенные угрозы – ничто не помогало. Объяснение прихода Консуэло к принцессе как в устах госпожи фон Клейст, так и в устах принцессы Амалии совершенно совпало с тем, которое так удачно придумала Порпорина. Оно было самым естественным, самым правдоподобным. Отнести все за счет случайности – что может быть лучше? Случайность бессловесна, и ее нельзя уличить во лжи.

Устав от борьбы, король сдался, а быть может, решил переменить тактику. Так или иначе, он воскликнул:

– Да ведь я совсем забыл о Порпорине! Милая сестричка, сейчас вам уже лучше, позовите же ее сюда – ее болтовня развлечет нас.

– Мне хочется спать, – ответила принцесса, опасаясь какой-нибудь западни.

– Тогда проститесь с ней и сами отошлите ее домой.

С этими словами король опередил госпожу фон Клейст, распахнул дверь и позвал Порпорину.

Но вместо того чтобы отпустить ее, он вдруг завязал с ней ученую беседу о немецкой и итальянской музыке, а когда эта тема иссякла, неожиданно сказал:

– Ах, да, синьора Порпорина, я и забыл сообщить вам одну новость. Думаю, что она обрадует вас. Ваш друг барон фон Тренк уже на свободе.

– Который барон фон Тренк, ваше величество? – спросила молодая девушка с ловко разыгранной наивностью. – Я знаю двоих, и оба в тюрьме.

– О, Тренк-пандур так и умрет в Шпильберге. На свободе оказался Тренк Прусский.

– Позвольте поблагодарить вас за это, ваше величество, – ответила Порпорина. – Вот справедливый и благородный поступок.

– Весьма обязан за комплимент, мадемуазель. А что думаете об этом вы, милая сестра?

– О чем идет речь? – спросила принцесса. – Я не слышала вас, брат, я задремала.

– Я говорил о вашем протеже, красавце Тренке, который перелез через тюремную стену и сбежал из Глаца.

– Он прекрасно сделал, – равнодушно ответила Амалия.

– Нет, очень плохо, – сухо возразил король. – Его дело как раз собирались пересмотреть, и, быть может, он смог бы оправдаться в тех обвинениях, которые над ним тяготеют. Побег подтверждает его преступление.

– Ну, если так, я отступаю от него, – все так же бесстрастно сказала Амалия.

– А вот мадемуазель Порпорина все еще готова его защищать, – сказал Фридрих. – Я вижу это по ее глазам.

– Потому что я не могу поверить в предательство, – ответила она.

– Особенно когда предатель так хорош собой? Известно ли вам, сестра, что мадемуазель Порпорина весьма близка с бароном фон Тренком?

– Тем лучше для нее, – холодно заявила Амалия. – Однако если этот человек обесчещен, я все же советую ей позабыть о нем. А теперь, мадемуазель, прощайте – я устала. Попрошу вас посетить меня через несколько дней – вы поможете мне разобрать эту партитуру. Кажется, она очень хороша.

– Вы снова полюбили музыку, – сказал король. – А мне казалось, что вы совсем забыли ее.

– Хочу попробовать снова позаниматься и надеюсь, милый брат, на вашу помощь. Говорят, вы сделали большие успехи и, стало быть, могли бы теперь давать мне уроки.

– Мы будем вместе брать уроки у синьоры. Я привезу ее к вам.

– Прекрасно. Вы доставите мне большое удовольствие.

Госпожа фон Клейст довела Порпорину до передней, и вскоре певица оказалась совсем одна в каких-то длинных коридорах, не зная толком, в каком направлении искать выход из дворца, и совсем забыв, какой дорогой она пришла сюда.

В доме короля соблюдалась строжайшая экономия, чтобы не сказать больше, и внутри дворца было очень мало лакеев. Порпорина не встретила ни одного, ей не у кого было спросить дорогу, и она начала блуждать наудачу по унылому и обширному зданию.

Поглощенная событиями сегодняшнего утра, разбитая от усталости, голодная – она ничего не ела со вчерашнего дня, – Порпорина ощущала в голове какой-то туман, но, как это иногда бывает в подобных случаях, болезненное возбуждение еще поддерживало ее физические силы. Она шла наугад и даже быстрее, чем шла бы в более спокойном состоянии. Преследуемая неотвязной мыслью, мучившей ее со вчерашнего вечера, она совершенно забыла, где находится, заблудилась, миновав какие-то галереи и дворики, вернулась назад, спустилась вниз и вновь поднялась по каким-то лестницам, повстречала в разных местах разных людей, не догадавшись спросить у них дорогу, и наконец, словно пробудившись от сна, вдруг очутилась у входа в большую комнату, уставленную странными, неизвестно для чего предназначавшимися предметами, а на пороге этой комнаты стоял серьезный и учтивый господин, который, вежливо поклонившись, пригласил ее войти. Порпорина узнала ученого академика Штосса, хранителя кабинета редкостей и библиотеки дворца. Он несколько раз приходил к ней с просьбой разобрать драгоценные рукописные ноты – протестантскую музыку начала Реформации, истинные сокровища каллиграфии, которыми он обогатил королевскую коллекцию. Узнав, что певица ищет выход из дворца, он тотчас вызвался проводить ее домой, но при этом стал так настойчиво просить хотя бы бегло осмотреть его необыкновенный кабинет, которым по праву гордился, что Порпорина не смогла ему отказать и, опираясь на его руку, стала обходить комнату. Она была совсем не расположена сейчас к подобному осмотру, но легко рассеиваясь, как все артистические натуры, вскоре заинтересовалась тем, что ей показывали, причем особое ее внимание привлек один предмет, на который указал достойнейший ученый муж.

– Вот этот барабан, – сказал он, – на первый взгляд не представляет ничего выдающегося. Я даже подозреваю, что он поддельный, и все-таки этот памятник старины пользуется большой известностью. Несомненно одно – что резонирующая часть этого боевого инструмента сделана из человеческой кожи, в чем вы можете убедиться сами по выпуклым линиям грудных мускулов. Этот трофей, взятый его величеством в Праге во время славной войны, недавно им завершенной, сделан, как говорят, из кожи Яна Жижки, поборника Чаши, который был знаменитым вождем великого восстания гуситов в пятнадцатом веке. По слухам, он завещал эти священные останки своим товарищам по оружию, пообещав, что «там, где будут эти останки, будет и победа». Чехи уверяют, что грозные звуки этого барабана обращали в бегство их врагов, что они вызывали призраки их вождей, погибших за святое дело, и делали много других чудес... Но, не говоря о том, что в блестящий век разума, когда мы с вами имеем счастье жить, подобные суеверия заслуживают только презрения, господин Ланфан, проповедник ее величества королевы-матери и автор удостоенной одобрения истории гуситов, утверждает, что Ян Жижка был погребен вместе со своей кожей и что, следовательно... Мне кажется, мадемуазель, что вы побледнели... Вам нездоровится? Или, быть может, вид этого необыкновенного предмета вызвал у вас неприятное чувство? Ведь Жижка был страшный злодей и свирепый бунтовщик...

– Возможно, – ответила Порпорина, – но я жила в Чехии и слышала там, что Жижка был великий человек. Память о нем до сих пор так же чтится в его стране, как во Франции чтят память Людовика Четырнадцатого, и чехи видят в Жижке спасителя родины.

– Увы! Нельзя сказать, чтобы он действительно спас ее, – с улыбкой возразил господин Штосс. – И сколько бы я ни ударял по гулкой груди ее освободителя, мне не удастся вызвать даже его призрак, который пребывает в позорном заточении у победителя его потомков. После этих слов, произнесенных наставительным тоном, почтенный господин Штосс провел пальцами по барабану, от чего раздался тот глухой, зловещий звук, какой производят подобные, обтянутые черным инструменты при исполнении похоронного марша. Но тут ученый хранитель древностей внезапно прервал свою нечестивую забаву, ибо Порпорина вдруг испустила пронзительный крик и, бросившись в объятия старика, уткнулась лицом в его плечо, словно испуганный ребенок, увидевший что-то необыкновенное и страшное.

Почтенный господин Штосс оглянулся по сторонам, ища причину этого неожиданного испуга, и увидел стоявшего на пороге залы человека, чей вид внушил ему одно лишь презрение. Он хотел было махнуть ему рукой, чтобы тот удалился, но человек уже прошел мимо, меж тем как Порпорина все еще цеплялась за господина Штосса.

– Право, мадемуазель, не понимаю, что с вами случилось, – сказал он, подведя Порпорину к стулу, на который она тут же упала, обессиленная и дрожащая. – Я не заметил ничего такого, что могло бы объяснить ваше волнение.

– Вы ничего не видели? Никого не видели? – спросила Порпорина угасшим голосом, с растерянным видом. – Там, возле той двери... Вы не видели там человека, который смотрел на меня страшным взглядом?

– Я прекрасно видел его – он часто бродит по замку. Быть может, ему и хочется казаться страшным, как вы изволили выразиться, но, признаюсь, меня он мало пугает, и я не принадлежу к числу тех, кого он дурачит.

– Так вы видели его? Ах, сударь, стало быть, он действительно стоял там? Это не почудилось мне? О Боже, Боже, что же это значит?

– Это значит, что благодаря особому покровительству одной любезной августейшей принцессы, – полагаю, что она больше забавляется его чудачествами, нежели верит в них, – он явился в замок и сейчас направляется в покои ее королевского высочества.

– Но кто он такой? Как его зовут?

– Так вы не знаете его? Почему же вы испугались?

– Бога ради, сударь, скажите мне, кто этот человек?

– Да ведь это Трисмегист, чародей принцессы Амалии! Один из тех шарлатанов, которые умеют предсказывать будущее, находить спрятанные сокровища, делать золото и обладают тысячей других талантов, весьма ценившихся в здешнем обществе до славного царствования Фридриха Великого. Вы, конечно, слышали, синьора, что аббатиса Кведлинбургская питает склонность к...

– Да, да, я знаю, что она изучает кабалистику, – должно быть, просто из любопытства.

– О, конечно! Можно ли предположить, что такая просвещенная, высокообразованная принцесса станет всерьез заниматься подобным вздором?

– Так вы, сударь, знаете этого человека?

– Разумеется. И давно. Вот уже добрых четыре года, как он появляется здесь не менее одного раза в шесть или восемь месяцев. Нрав у него миролюбивый, он не вмешивается в придворные интриги, и потому его величество король, не желая лишать любимую сестру невинных развлечений, терпит его присутствие в городе и даже разрешает входить во дворец, когда ему вздумается. Трисмегист не злоупотребляет этим и в нашей стране занимается своим так называемым искусством только в присутствии ее высочества. Ему покровительствует и за него ручается господин Головкин. Вот все, что я могу сообщить вам о Трисмегисте. Но скажите, синьора, почему все это так живо интересуется вас?

– Уверю вас, сударь, это нисколько меня не интересует, и, чтобы вы не сочли меня безумной, признаюсь вам, что этот человек показался мне – очевидно, я ошиблась – поразительно

похожим на одно существо, которое было мне когда-то дорого, дорого даже и сейчас – ведь смерть не разрывает уз дружбы, вы согласны?

– Это благородное чувство, вполне достойное вас, синьора. Однако вы перенесли сильное волнение и теперь еле держитесь на ногах. Позвольте же мне проводить вас домой.

Придя к себе, Порпорина легла в постель и пролежала несколько дней, терзаемая лихорадкой и сильнейшим нервным возбуждением. Уже выздоравливая, она получила записку от госпожи фон Клейст: та приглашала ее к себе помузицировать к восьми часам вечера. Музыка оказалась лишь предлогом, чтобы украдкой провести ее во дворец. Разными потайными переходами дамы вместе пробрались к принцессе, которая встретила их в прелестном наряде, хотя комната была еле освещена, а слуги оказались отпущенными на весь вечер под предлогом нездоровья их госпожи. Принцесса приняла певицу необыкновенно ласково и, дружески взяв ее под руку, привела в красивую круглую комнату, освещенную пятью десятками свечей; здесь со вкусом и роскошью был приготовлен изысканный ужин. Французское рококо еще не успело проникнуть в прусский двор. К тому же в эту эпоху принято было выказывать глубокое презрение ко двору Франции, и все стремились подражать традициям века Людовика XIV, о котором Фридрих, втайне стремившийся копировать этого великого короля, отзывался с неприкрытым и безграничным восхищением. Принцесса Амалия, однако, была одета по последней моде, и, хотя ее туалет был скромнее наряда госпожи де Помпадур, она казалась от этого не менее блестящей. На госпоже фон Клейст тоже было прелестное платье, а между тем на столе стояли всего три прибора, и не видно было ни одного слуги.

– Вы изумлены нашим маленьким пиршеством, – смеясь сказала принцесса.

– Так вот – вы изумитесь еще больше, когда узнаете, что мы ужинаем только вдвоем и будем сами прислуживать друг другу. Кроме того, мы и приготовили все своими руками – я и госпожа фон Клейст. Сами накрыли на стол, сами зажгли свечи, и никогда еще мне не было так весело. Впервые в жизни я сама причесалась, сама оделась, и, мне кажется, я одета и причесана лучше, чем когда бы то ни было. Словом, мы будем развлекаться инкогнито. Король проведет ночь в Потсдаме, королева находится в Шарлоттенбурге, мои сестры гостят у королевы-матери в Мон-Бижу, братья куда-то исчезли, во дворце нет никого, кроме нас. Меня считают больной, и я хочу воспользоваться этой ночью свободы, чтобы почувствовать, что все-таки еще живу, и чтобы отпраздновать с вами двумя (единственными в мире существами, на которых я могу положиться) побег моего дорогого Тренка. Итак, мы будем пить шампанское за его здоровье, а если одна из нас опьянеет, две другие сохранят это в тайне. Да, да, прекрасные «философские» ужины Фридриха померкнут перед блеском и веселостью нашего!

Сели за стол, и Порпорина увидела принцессу в совершенно новом свете. Сегодня Амалия была добра, мила, естественна, весела, ангельски хороша, словом, в этот вечер она была так же обворожительна, как в лучшие дни ранней молодости. Она утопала в блаженстве, и это блаженство было чистым, великодушным, бескорыстным. Возлюбленный находился где-то далеко, она не знала, увидится ли с ним когда-нибудь, но он был свободен, он перестал страдать, и его любовница, сияя от счастья, благословляла судьбу.

– Ах, как мне хорошо с вами! – повторяла она, сидя меж своих двух наперсниц, которые вкупе с нею составляли самое прелестное, самое утонченное и кокетливое трио, какое когда-либо укрывалось от мужских взоров. – Я чувствую себя такой же свободной, как свободен в эту минуту Тренк. Такой же доброй, каким он был всегда и какой я уже не надеялась когда-либо стать! Не было часа, чтобы Глацкая крепость не тяготела над моей душой. В ночных кошмарах она всей своей громадой наваливалась мне на грудь. Я замерзала на своих пуховиках, когда думала, что тот, кого я люблю, дрожит на сырых каменных плитах мрачной темницы. Ах, дорогая Порпорина, вообразите ужас, который испытываешь, говоря себе: «Все эти муки он терпит из-за меня, это моя роковая любовь толкает его живым в могилу!» Вот эта мысль, словно дыхание гарпий, отравляла всю мою пищу... Налей мне шампанского, Порпорина. Я и

прежде не любила его, а в последние два года пила только воду. Но сейчас оно кажется мне нектаром. Блеск свечей ласкает глаз, цветы благоухают, яства изысканны, а главное, вы, вы обе, хороши как ангелы – и фон Клейст, и ты. Да, да, я вижу, слышу, дышу, из холодной статуи, из трупа, каким я была, я превратилась в живую женщину. Так давайте чокнемся – сначала за здоровье Тренка, а потом за здоровье бежавшего с ним друга. Мы чокнемся еще за здоровье добрых стражей, давших ему возможность бежать, и под конец за здоровье моего брата Фридриха, которому не удалось помешать ему. Нет, ни одна горькая мысль не омрачит сегодняшней праздник. У меня больше ни к кому нет злобы. Кажется, я люблю даже короля. Итак, за здоровье короля, Порпорина, да здравствует король.

Удовольствие, которое испытывали две прелестные гостьи бедной принцессы, видя ее ликование, еще усиливалось благодаря простоте ее обращения и той атмосфере полнейшего равенства, какую она создала вокруг себя. Когда наступала ее очередь, она вставала, меняла тарелки, сама разрезала торты, с трогательной детской радостью прислуживая своим подругам.

– Ах, если я и не была рождена для жизни, где царит равенство, – говорила она, – то любовь открыла мне его сущность, а горе, которое мне причинил мой титул, показало всю нелепость предрассудков, связанных с происхождением и саном. Сестры у меня совсем другие. Сестра фон Анспах скорее взойдет на эшафот, нежели первая поклонится какой-нибудь нецарствующей особе. Другая сестра, маркграфиня Байрейтская (в обществе Вольтера она играет роль философа и вольнодумца), выцарапала бы глаза любой герцогине, если бы та позволила себе носить шлейф на дюйм длиннее, чем у нее. И все это потому, что они не любили! всю свою жизнь они проведут в том безвоздушном пространстве, которое именуют «достоинством своего ранга». Так они и умрут, набальзамированные, словно мумии, в своем величии. Правда, они никогда не испытают моих горьких мучений, но за всю свою жизнь, отданную этикету и придворным торжествам, они не узнают таких минут беззаботности, радости и доверия, какими наслаждаюсь сейчас я с вами! Дорогие мои подружки, пусть мой праздник станет еще более радостным, – говорите мне сегодня «ты». Я хочу быть для вас Амалией. Никаких высочеств! Просто Амалия. Ага, фон Клейст, я вижу, ты хочешь отказать мне. Жизнь при дворе испортила тебя – волей-неволей ты надышалась его вредоносных испарений. Ну, а ты, дорогая Порпорина? Правда, ты актриса, но мне кажется, у тебя цельная натура, и ты исполнишь мое невинное желание.

– Да, дорогая Амалия, охотно, если это может доставить тебе удовольствие, – смеясь ответила Порпорина.

– О небо! – воскликнула принцесса. – Если бы ты знала, что я испытываю, когда слышу это «ты», когда меня называют Амалией! Амалия! Ах, как звучало это имя в его устах! Когда его произносил он, мне казалось, что это самое красивое, самое нежное имя, каким когда-либо называли женщину.

Постепенно душевный подъем принцессы дошел до того, что она забыла о себе и стала думать о своих подругах. И когда ей удалось почувствовать себя равной им, она сделалась такой великодушной, такой счастливой, такой доброй, что инстинктивно сбросила с себя броню горечи и желчи, в которую ее заковали годы страсти и скорби. Она перестала говорить о себе и только о себе, отказалась от мелочного любования приветливостью и простотой своего обращения, начала расспрашивать госпожу фон Клейст о ее семье, об обстоятельствах ее жизни, о ее чувствах, чего не делала с той поры, как собственные горести целиком завладели ее душой. Ей захотелось также познакомиться с жизнью артистов, с душевными волнениями, связанными со сценой, узнать мысли и привязанности Порпорины. Полная доверия, она и сама его излучала и, с огромной радостью читая в душе других, она убедилась, что эти два создания, которые до сих пор казались ей совсем иными, не такими, как она, в действительности ничем от нее не отличаются, что они столь же заслуживают уважения перед лицом Бога, столь же одарены

природой, – словом, что эти создания столь же значительны на земле, как и она сама, давно уже уверившаяся в своем превосходстве над всеми другими.

Особенно поразила ее Порпорина, чьи простодушные ответы и милая откровенность преисполнили ее восхищением и симпатией.

– Ты просто ангел, – сказала она. – И это ты, актриса! В твоих словах и мыслях больше благородства, чем в словах и мыслях всех коронованных особ, каких я знаю. Ты внушаешь мне безграничное уважение, я просто влюбилась в тебя. Но и ты должна полюбить меня, прекрасная Порпорина. Открой мне сердце, расскажи о своей жизни, о своем происхождении, воспитании, о своих увлечениях, даже о своих ошибках, если они у тебя были. Но это могли быть лишь благородные ошибки, вроде моей, а моя вовсе не тяготит мою совесть: она таится в святая святых моего сердца. Сейчас одиннадцать часов, впереди у нас вся ночь, наша маленькая «оргия» подходит к концу – ведь мы теперь просто болтаем, и я вижу, что вторая бутылка шампанского окажется лишней. Прошу тебя – расскажи мне свою историю. Мне кажется, если я узнаю твое сердце, если увижу картину жизни, в которой все для меня будет ново и неизвестно, это даст мне более правильное представление об истинном нашем долге на земле, чем все мои бесплодные размышления. Я чувствую, что способна слушать тебя так внимательно, с таким интересом, с каким никогда прежде не могла слушать что-либо, не связанное с предметом моей страсти. Исполнишь ты мое желание?

– Я охотно сделала бы это, принцесса... – начала Порпорина.

– Принцесса? Кого ты имеешь в виду? – шутливо перебила ее принцесса Амалия.

– Я хочу сказать, милая Амалия, – ответила Порпорина, – что охотно сделала бы это, не будь в моей жизни одной тайны, очень важной, почти зловещей тайны, с которой связано все остальное, и никакая потребность открыться, излить душу не позволяет мне выдать ее.

– Так знай же, дорогое дитя, что она мне известна, твоя тайна! И если я не сказала тебе об этом в начале ужина, то единственно из страха совершить нескромность. Однако теперь я чувствую, что моя дружба к тебе может смело стать выше этого страха.

– Вам известна моя тайна! – вскричала пораженная Порпорина. – О, принцесса, простите меня, но мне это кажется невероятным.

– Штраф! Ты опять назвала меня принцессой.

– Прости, Амалия, но ты не можешь знать мою тайну, если только и в самом деле не поддерживаешь связь с Калиостро, как уверяют многие.

– Я давно уже слышала о твоём приключении с Калиостро и умирала от желания узнать подробности, но, повторяю, сегодня мною движет не любопытство, а искренняя дружба. Так вот, чтобы тебя ободрить, скажу тебе – с сегодняшнего утра я отлично знаю, что синьора Консуэло Порпорина может, ежели пожелает, носить на законном основании титул графини Рудольштадтской.

– Ради всего святого, принцесса... Нет, Амалия... Кто мог рассказать вам?

– Милая Рудольштадт, неужели ты не знаешь, что моя сестра, маркграфиня Байрейтская, сейчас в Берлине?

– Знаю.

– И с нею ее доктор Сюпервиль?

– Ах так! Сюпервиль нарушил свое слово, свою клятву. Он рассказал все!

– Успокойся. Он рассказал только мне, и притом под большим секретом. Впрочем, я не понимаю, почему ты так уж боишься предать гласности это дело – ведь оно обнаруживает лучшие стороны твоей натуры, а повредить уже никому не может. Все члены семейства Рудольштадт умерли, за исключением старой канониссы, да и та, очевидно, не замедлит последовать в могилу за своими братьями. Правда, у нас в Саксонии существуют князья Рудольштадтские, твои близкие родственники – троюродные братья. Они очень кичатся своим именем, но если тебя поддержит мой брат, то это имя будешь носить ты, и они не посмеют протестовать...

Впрочем, возможно, ты все еще предпочитаешь носить имя Порпорины? Оно не менее славно и гораздо более благозвучно.

– Да, таково и в самом деле мое желание, что бы ни случилось, – ответила певица. – Но мне бы очень хотелось узнать, по какому поводу господин Сюпервиль рассказал вам обо всем. Когда я это узнаю и совесть моя будет свободна от данной клятвы, обещаю вам... обещаю тебе рассказать подробности этого печального и странного брака.

– Вот как это произошло, – сказала принцесса. – Одна из моих фрейлин заболела, и я попросила передать Сюпервилю, – а мне уже сообщили, что он находится в замке, при особе моей сестры, – чтобы он заехал посмотреть больную. Сюпервиль – человек умный, я знала его еще тогда, когда он постоянно жил здесь. Он никогда не любил моего брата, и тем удобнее было мне завязать с ним беседу. Случайно разговор зашел о музыке, об опере и, следовательно, о тебе. Я сказала ему о тебе столько лестного, что он – то ли желая сделать мне приятное, то ли искренно, – перещеголял меня и начал превозносить тебя до небес. Я слушала его с большим удовольствием, но заметила, что он чего-то недоговаривает; он намекал на какие-то романтические, даже захватывающие события, имевшие место в твоей судьбе, и на такое душевное величие, какого я, при всем моем добром к тебе отношении, якобы не могу себе представить. Признаюсь, я стала очень настаивать, и в его оправдание могу сказать, что он заставил долго себя упрашивать. Наконец, взяв с меня слово не выдавать его, он рассказал о твоём браке с умирающим графом Рудольштадтом и о твоём великодушном отречении от всех прав и преимуществ. Теперь ты видишь, дитя мое, что можешь со спокойной совестью рассказать мне все остальное, если у тебя нет других причин это скрывать.

– Хорошо, – после минутной паузы сказала Порпорина, поборов свое волнение, – этот рассказ неминуемо пробудит во мне тяжелые воспоминания, особенно тяжелые с тех пор, как я нахожусь в Берлине, но я отвечу доверием на сочувствие и интерес вашего высочества... то есть, я хочу сказать, моей доброй Амалии.

ГЛАВА 7

– Я родилась в одном из уголков Испании. Не знаю точно, где именно и в каком году это было, но сейчас мне двадцать три или двадцать четыре года. Имя моего отца мне неизвестно, и думаю, что моя мать тоже не знала имени своих родителей. В Венеции ее называли Zingara – цыганкой, а меня Zingarella – цыганочкой. Моей покровительницей, по желанию матери, стала Maria del Consuelo, что по-французски означает богоматерь Утешения. Первые мои годы прошли в бродяжничестве и нужде. Мы с матерью всюду ходили пешком и песнями зарабатывали на хлеб. Смутно припоминаю, что в чешских лесах нас радушно приняли в каком-то замке, где красивый юноша по имени Альберт, сын владельца замка, был со мной очень ласков и подарил моей матери гитару. Этот замок был замком Исполинов, и настал день, когда я отказалась сделаться его хозяйкой, а этим юношей был граф Альберт Рудольштадт, чьей супругой мне суждено было стать.

Десяти лет от роду я начала петь на улицах.

Однажды, когда я пела свою песенку на площади святого Марка в Венеции, перед входом в какое-то кафе, маэстро Порпора – он как раз находился там, – пораженный моим голосом, слухом и естественной манерой пения, которую я переняла от матери, подозвал меня, стал расспрашивать, проводил меня до моей лачуги, дал матушке немного денег и обещал ей устроить меня в scuola dei mendicanti, одну из тех бесплатных музыкальных школ, каких так много в Италии и откуда выходят все знаменитые артисты обоего пола, ибо ими руководят лучшие учителя. Я сделала там большие успехи, и вскоре маэстро Порпора очень привязался ко мне, что немедленно вызвало ревность и неприязнь других учениц. Их несправедливая злоба и презрение к моим лохмотьям рано приучили меня к терпению, выдержке и покорности судьбе.

Не помню, когда именно я увидела его впервые, но твердо знаю, что в семь или восемь лет я уже любила одного юношу, или, вернее, мальчика, брошенного сироту, который так же, как я, обучался музыке благодаря чьему-то покровительству и состраданию и так же, как я, проводил на улице целые дни. Наша дружба, или наша любовь, ведь это было одно и то же, была целомудренным и восхитительным чувством. Невинные, мы вместе бродили по улицам в те часы, которые не были отданы музыке. Матушка, тщетно пытавшаяся разлучить нас, наконец согласилась признать нашу взаимную склонность, но, лежа на смертном одре, взяла с нас слово, что мы поженимся, как только будем в состоянии прокормить семью своим трудом.

Когда мне было восемнадцать или девятнадцать лет, я уже пела довольно хорошо. Граф Дзустиньяни, знатный венецианец, владелец театра Сан-Самуэле, услышал однажды мое пение в церкви и пригласил меня на первые роли, желая заменить Кориллу – красивую женщину и искусную певицу, которая до того была его любовницей, но изменила ему. Этот самый Дзустиньяни и был покровителем моего жениха Андзолето. Андзолето пригласили на главные мужские роли одновременно со мною. Первые наши выступления проходили с огромным успехом. Андзолето обладал великолепным голосом, необыкновенным природным дарованием и обольстительной внешностью; ему покровительствовали самые красивые дамы. Но он был ленив, у него не было такого искусного и усердного учителя, как у меня. Его успех оказался менее блистательным. Сначала это вызвало у него огорчение, потом досаду, наконец зависть, и так я утратила его любовь.

– Возможно ли? – воскликнула принцесса Амалия. – Из-за такой ничтожной причины? Так он, значит, был очень дурной человек?

– Увы, принцесса, нет. Но он был тщеславен, как все актеры. Он стал искать покровительства певицы Кориллы, впавшей в немилость, а потому озлобленной, и она отняла у меня сердце Андзолето, а его быстро научила, как оскорбить и ранить мое. Однажды вечером маэстро Порпора, – а он всегда восставал против нашей любви, ибо, по его мнению, женщина, чтобы стать

великой артисткой, должна оставаться чуждой любому влечению сердца, любому проявлению страсти, – итак, маэстро Порпора помог мне обнаружить измену Андзолето. А на следующий вечер сам граф Дзустиньяни объяснился мне в любви, чего я никак не ожидала и что глубоко меня оскорбило. Андзолето притворился, будто ревнует меня, будто верит, что я уступила графу... Он попросту хотел порвать со мной. Ночью я убежала из дома и явилась к моему учителю. Этот человек умеет быстро принимать решения, а меня он научил так же быстро выполнять то, что решено. Он дал мне рекомендательные письма, небольшую сумму денег, объяснил маршрут путешествия, посадил в гондолу, проводил за пределы города, и на рассвете я одна отправилась в Богемию.

– В Богемию! – повторила госпожа фон Клейст, пораженная мужеством и добродетелью Порпорины.

– Да, сударыня, – подтвердила молодая девушка. – На нашем языке – языке кочующих актеров – мы часто употребляем выражение «бродить по Богемии», когда хотим сказать, что пускаемся на волю случая, что идем на риск бедной, полной трудов, а иногда далеко не безупречной, жизни цыган, которых по-французски называют также богемцами. Но я-то отправилась не в ту символическую Богемию, в которую как будто послала меня судьба вместе со множеством мне подобных, а в несчастную рыцарскую страну чехов, на родину Гуса и Жижки, в Бемервальд, словом – в замок Исполинов, где мне оказало самый радушный прием все семейство Рудольштадтов.

– Почему ты поехала именно к ним? – спросила принцесса, слушавшая ее с большим вниманием. – Помнили они о том, что видели тебя ребенком?

– Нет. И я тоже совершенно забыла об этом.

Лишь много времени спустя случайно граф Альберт вспомнил сам и напомнил мне об этом маленьком приключении. Дело в том, что мой учитель Порпора, в бытность свою в Германии, очень дружил там с главой семьи – достопочтенным Христианом Рудольштадтом. А молодой баронессе Амалии, его племяннице, требовалась гувернантка, или, вернее, компаньонка, которая бы делала вид, что учит ее музыке, и разгоняла скуку суровой и унылой жизни обитателей Ризенбурга. Ее благородные и добрые родные приняли меня по-дружески, почти по-родственному. Несмотря на все мое желание, я ничему не научила мою хорошенькую и капризную ученицу, и...

– И граф Альберт влюбился в тебя, как того и следовало ожидать.

– Увы, принцесса, я не могу так легко говорить об этой серьезной и печальной истории. Граф Альберт считался помешанным. Благородная душа, восторженный ум сочетались в нем с большими странностями, с необъяснимыми, болезненными причудами воображения.

– Сюпервиль рассказывал мне об этом, но сам он ничему не верит, и я ничего не поняла. Молодому графу приписывали какие-то сверхъестественные свойства, дар пророчества, ясновидения, способность делаться невидимым... Его семья рассказывала самые невероятные вещи... Но ведь все это невозможно, и, надеюсь, ты тоже этому не веришь?

– Избавьте меня, принцесса, от мучительной необходимости высказывать мнение о том, что недоступно моему пониманию. Я видела непостижимые вещи, и порой граф Альберт казался мне каким-то неземным существом. А бывало и так, что я видела в нем лишь несчастного человека, который именно вследствие избытка своих добродетелей был лишен светоча разума. Но никогда он не был в моих глазах обыкновенным смертным. В лихорадочном бреде и в спокойном состоянии, в порыве восторга и в припадке уныния, всегда он был самым лучшим, самым справедливым, самым мудрым и просвещенным, самым поэтически вдохновенным из всех людей в мире. Словом, я никогда не смогу думать о нем или произносить его имя иначе, как с трепетом глубокого уважения, глубокого умиления, но также и некоторого страха: ведь невольной, но не вполне безвинной причиной его смерти являюсь именно я.

– Осуши свои прекрасные глаза, дорогая графиня, соберись с духом и продолжай. Поверь, что я слушаю тебя без малейшей иронии и без пошлого легкомыслия.

– Он полюбил меня, но я долго не подозревала об этом. Он никогда не обращался ко мне ни с единым словом и, казалось, даже не замечал моего присутствия в замке. Пожалуй, он впервые обратил на меня внимание в ту минуту, когда услышал мое пение. Надо вам сказать, что сам он был замечательным скрипачом, и невозможно даже вообразить себе, как совершенна его игра. Впрочем, я уверена, что была единственной в Ризенбурге, кому довелось слышать игру графа Альберта, ибо его семейство даже не подозревало о несравненном таланте графа. Так что его любовь ко мне родилась в порыве восторга и родства душ, вызванном любовью к музыке. Его кузина баронесса Амалия – он был помолвлен с ней в течение двух лет, но не любил ее – рассердилась на меня, хотя тоже не любила его. Она высказала мне свою досаду откровенно, но без злобы, так как, несмотря на свои недостатки, обладала некоторым великодушием. Холодность Альберта, грусть, царившая в замке, – все это наскучило ей, и в одно прекрасное утро она покинула нас, похитив, если можно так выразиться, барона Фридриха – своего отца, брата графа Христиана; барон был человек добрый, но ограниченный, с ленивым умом и бесхитростным сердцем, покорный раб своей дочери и страстный охотник.

– Но ты ничего не говоришь о способности графа Альберта становиться невидимым, о его исчезновениях на две-три недели, после которых он неожиданно появлялся снова, думая при этом или делая вид, что думает, будто не выходил из дому, а потом не мог или не хотел открыть, что же с ним происходило в то время, когда его искали во всех окрестностях замка.

– Ну, раз уж господин Сюпервиль рассказал вам об этом странном и, казалось бы, необъяснимом явлении, я открою вам эту тайну – ведь сделать это могу только я одна, потому что о ней не знал никто, кроме нас двоих. Вблизи замка Исполинов находится гора под названием Шрекенштейн. В глубине ее есть пещера, а за ней несколько потайных комнат. Это старинное подземное сооружение существует со времен гуситов. Альберт, изучивший целый ряд весьма смелых, даже мистических философских и религиозных течений, в душе оставался гуситом, или, вернее, таборитом. Потомок по материнской линии короля Георга Подебрада, он сохранил и развил в себе то стремление к национальной независимости и к евангельскому равенству, которое проповеди Яна Гуса и победы Яна Жижки, так сказать, привили жителям Чехии...

– Как она рассуждает об истории и философии! – воскликнула принцесса, взглянув на госпожу фон Клейст. – Могла ли я думать, что актриса разбирается в подобных предметах не хуже, чем я, всю жизнь изучавшая их по книгам? Недаром я говорила тебе, фон Клейст, что среди этих созданий – а ведь ходячая молва причисляет их к низшим слоям общества – есть выдающиеся умы, равные тем, которые мы с таким старанием и с такими затратами выращиваем в первых его рядах, а быть может, даже и превосходящие их.

– Увы, принцесса! – возразила Порпорина. – Я очень невежественна и до пребывания в Ризенбурге никогда ничего не читала, но там так много говорилось об этих предметах, и мне, чтобы понять, что же происходит в уме Альберта, пришлось так много размышлять, что в конце концов у меня сложилось о них определенное представление.

– Да, конечно, но ты и сама стала мистиком и немного потеряла рассудок, дорогая Порпорина! Можешь восхищаться походами Яна Жижки и республиканским духом Чехии – быть может, я и сама не меньшая поборница республиканских идей, потому что и мне любовь открыла понятия, противоположные всему тому, что внушали мне наставники по поводу прав народа и значения отдельных индивидуумов. Но я не разделяю твоего преклонения перед фанатизмом таборитов и перед их иступленным стремлением к христианскому равенству. Все это нелепо, неосуществимо и ведет к жестокости и насилию. Пусть ниспровергают троны, я согласна и даже... готова способствовать этому, если понадобится! Пусть создаются республики, такие, как в Спарте, Афинах, Риме или в старой Венеции, – это я еще могу допустить. Но

твои кровожадные и неопрятные табориты так же не привлекают меня, как недоброй памяти вальденсы, как отвратительные мюнстерские анабаптисты и пикарты древней Германии.

– Я слышала от графа Альберта, что все это не совсем одно и то же, – скромно возразила Консуэло, – но не смею спорить с вашим высочеством, так как вы основательно изучали этот предмет. У вас есть здесь историки и ученые, которые много занимаются подобными важными материями, и вы лучше меня можете судить, насколько их мнение мудро и справедливо. И все-таки мне кажется, что, даже будь у меня возможность учиться у самых образованных профессоров, я все равно не изменила бы своим симпатиям. Однако продолжу мой рассказ.

– Да, прости, что я тебя перебила своими скучными рассуждениями. Продолжай. Итак, граф Альберт, увлеченный подвигами своих предков (что вполне понятно и вполне прости-тельно), влюбленный в тебя, что, впрочем, еще более естественно и законно, не мог допустить, чтобы тебя не считали равной ему перед Богом и людьми. Он был вполне прав, но это еще не причина убегать из родительского дома и доводить до отчаяния всех родных.

– Как раз к этому я и подхожу, – сказала Консуэло. – Он уже давно начал посещать пещеру гуситов, скрытую в недрах Шрекенштейна. Он любил мечтать и размышлять там, и ему особенно нравилось то, что только он да еще один бедный помешанный крестьянин, ходивший туда вместе с ним, знали о существовании этих подземных жилищ. Альберт привык уединяться там всякий раз, когда вследствие какой-нибудь семейной неприятности или сильного волнения он терял власть над своими поступками. Чувствуя приближение такого припадка и не желая огорчать родных зрелищем своего безумия, он убегал в Шрекенштейн через обнаруженный им подземный ход; ход этот начинался в колодце, находившемся посреди цветника, разбитого близ его покоев. Оказавшись в своей любимой пещере, Альберт забывал о времени, не замечал, как проходят часы, дни, недели. Находясь на попечении крестьянина Зденко, мечтателя с душой поэта, в чьей экзальтации было нечто общее с его собственной, он вспоминал о том, что надо вернуться к дневному свету и родным лишь тогда, когда припадок затихал, и, к несчастью, эти припадки становились все сильнее и продолжительнее. Но вот однажды Альберт отсутствовал так долго, что все сочли его погибшим, и тогда я решила разыскать его убежище. Это стоило мне больших опасностей и мучений. Я спустилась в тот колодец, откуда однажды ночью – я это видела из укромного места – вышел Зденко. Не зная дороги, я едва не погибла в этих подземных переходах. Наконец я нашла Альберта, мне удалось рассеять его болезненное забытие, я привела его к родным и заставила поклясться, что он никогда не вернется без меня в эту роковую пещеру. Он уступил, но сказал мне, что это значит осудить его на смерть. И его предсказание сбылось!

– Что ты говоришь! Ведь, напротив, это значило вернуть его к жизни!

– Нет, принцесса, для этого я должна была суметь его полюбить, а не сделаться для него источником горя.

– Как! Значит ты не любила его? Ты спустилась в колодец, ты рисковала жизнью в этом подземном странствии...

– Во время которого безумец Зденко – он не понимал цели моих поисков и, подобно верному глупому псу, оберегая безопасность своего хозяина, едва меня не убил. Я чуть не погибла в бушующем потоке. Альберт не сразу узнал меня и чуть не заразил своим безумием: страх и волнение делают человека восприимчивым к галлюцинациям. Затем припадок у него повторился, он снова привел меня в подземелье и едва не покинул там одну. И все это я вынесла без любви к Альберту.

– Так, может быть, чтобы избавить его от болезни, ты дала обет своей богоматери Утешения?

– Да, действительно, нечто вроде того, – ответила Порпорина с грустной улыбкой. – Чувство искреннего сострадания к его семье, глубокая симпатия к нему самому, возможно – романтический ореол истинной дружбы, но ни малейшей искры любви, во всяком случае

– ничего похожего на мою прежнюю слепую, отуманивающую и сладостную любовь к неблагодарному Андзолето, которая преждевременно иссушила мне сердце... Что еще сказать вам, принцесса? После этого ужасного приключения у меня сделалась горячка, и я была на волосок от смерти. Меня спас Альберт – ведь он не только искусный музыкант, но также искусный врач. Мое медленное выздоровление и его неусыпные заботы породили у нас обоих чувство братской близости. Рассудок полностью вернулся к нему. Его отец дал мне свое благословение и стал обращаться как с любимой дочерью. Даже старая горбатая тетка Альберта, канонисса Венцеслава, ангел доброты, но при этом полная предрассудков аристократка, примирилась с мыслью принять меня в свою семью. Альберт молил меня о любви. Граф Христиан превратился теперь в адвоката своего сына. Я была взволнована, испугана. Альберта я любила, как любят добродетель, истину, образец совершенства, но он все еще внушал мне страх; меня отталкивала мысль, что я могу стать графиней, заключить брак, который восстановил бы против Альберта и его семьи всю местную аристократию, а на меня навлек бы обвинение в низменных и корыстных побуждениях. А кроме того – признаюсь в этом, кажется, единственном моем преступлении! Мне было жаль расставаться с моей профессией, свободой, с моим старым учителем, с моей артистической карьерой и с этой волнующей ареной – ареной театра, где я появилась лишь на миг, чтобы блеснуть и исчезнуть, как метеор; с этими раскаленными подмостками, где была разбита моя любовь, где свершилось мое несчастье, с подмостками, которые я собиралась проклинать и презирать всю жизнь и которые, однако, снились мне все ночи напролет – с их аплодисментами и свистками...

Вы, принцесса, вероятно, сочтете это странным и достойным презрения, но если тебя с детства готовили для театра, если всю свою жизнь ты трудился, мечтая об этих битвах и этих победах, если ты выиграл наконец свое первое сражение, тогда... тогда мысль, что никогда больше ты не вернешься на сцену, может быть так же страшна, как для вас, дорогая Амалия, была бы страшна мысль, что отныне вы будете принцессой лишь на подмостках, как ныне бываю я – дважды в неделю...

– Ты ошибаешься, друг мой. Это нелепость! Ведь если бы я могла из принцессы превратиться в актрису, я бы вышла замуж за Тренка и была бы счастлива. А ты не захотела превратиться из актрисы в принцессу, чтобы стать супругой Рудольштадта. Да, теперь я вижу, что ты не любила его! Но тут нет твоей вины... Сердцу не прикажешь!

– Как бы мне хотелось, принцесса, убедить себя в том, что этот афоризм верен, – тогда моя совесть была бы спокойна. Но я бьюсь над этой задачей всю жизнь и все еще не разрешила ее.

– Это серьезный вопрос, – сказала принцесса, – и как аббатиса я должна попытаться высказать свое мнение о такого рода велениях совести. Ты сомневаешься в том, что мы вольны любить или не любить? Ты, стало быть, думаешь, что любовь способна считаться с голосом рассудка?

– Так должно было быть. Благородное сердце должно уметь подчинить свое влечение рассудку, но, разумеется, не тому вульгарному рассудку, который равносителен безумию и лжи, а благородному умению распознавать и выбирать – то есть любви к прекрасному, стремлению к истине. Вот вы, принцесса, как раз и являетесь подтверждением того, о чем я говорю, и ваш пример – это мой приговор. Рожденная для трона, вы пожертвовали ложным величием ради истинной страсти, ради обладания сердцем, достойным вашего сердца. А у меня, тоже рожденной, чтобы стать королевой (королевой подмостков), не достало мужества и великодушия, чтобы с радостью пожертвовать мишурой этой ложной славы ради мирной жизни и возвышенной привязанности, которая меня ожидала. Я готова была сделать это из преданности, но не без боли, не без страха. И граф Альберт, чувствуя мою мучительную тревогу, не пожелал принять мое согласие как жертву. Ему нужны были пылкие восторги, разделенная радость, сердце, свободное от всяких сожалений. Я не должна была обманывать его. Да и можно ли обмануть

в подобных вещах? Поэтому я попросила не торопить меня, и моя просьба была исполнена. Я обещала сделать все, что от меня зависит, чтобы моя любовь стала подобной его любви. Я была искренна, но с ужасом ощущала, как мне хотелось освободиться от веления совести, заставившей меня принять это страшное обязательство.

– Странная девушка! Могу поручиться, что ты все еще любишь того, другого.

– О Боже! Я была уверена, что разлюбила его, но однажды утром, ожидая на горе Альберта, чтобы пойти с ним на прогулку, я вдруг услышала песню, которую когда-то разучивала вместе с Андзолето, а главное, узнала этот проникающий в душу голос, который я так любила, и венецианский выговор, столь милый моему сердцу. Я посмотрела вниз и увидела всадника. То был он, принцесса, то был Андзолето.

– Но зачем, во имя всего святого, явился он в Чехию?

– Впоследствии я узнала, что он нарушил свой контракт и бежал из Венеции, страшась мести графа Дзустиньяни. Быстро пресытившись деспотической любовью сварливой Кориллы, с которой он снова начал успешно выступать в театре Сан-Самуэле, он добился благосклонности некой Клоринды, моей бывшей школьной подруги, второразрядной певицы и любовницы графа Дзустиньяни. Как человек светский, иначе говоря – как легкомысленный развратник, граф отомстил ей, вернувшись к Корилле, но не расставшись и с Клориндой. В разгаре этой двойной интриги Андзолето, не выдержав издевательств соперника, сначала разозлился, потом пришел в ярость и в одну прекрасную летнюю ночь перевернул гондолу, где Дзустиньяни наслаждался прохладой в обществе Кориллы. Обе пары отделались тем, что приняли холодную ванну, – не все каналы Венеции глубоки. Однако Андзолето, понимая, что эта шутка может привести его в тюрьму, сбежал и по дороге в Прагу проехал мимо замка Исполинов. Итак, он проехал мимо, а я встретила с Альбертом, чтобы совершить с ним паломничество в пещеру Шрекенштейна, которую ему хотелось увидеть еще раз вместе со мной. Я была вся во власти волнения и печали. Мне пришлось пережить в этой пещере тяжелые потрясения. Мрачное убежище, таинственный источник, возле которого Альберт соорудил алтарь из костей гуситов, восхитительный и душераздирающий звук его скрипки, какие-то смутные страхи, темнота, суеверные мысли, которые всегда завладевали им здесь и от которых я уже не в силах была его уберечь...

– Договаривай! Он считал себя Яном Жижкой. Он верил, что живет вечно и помнит то, что произошло в прошлых веках. Словом, он был одержим той же манией, что и граф де Сен-Жермен, не так ли?

– Да, принцесса, раз уж вы знаете все... И его уверенность в том, что он говорил, действовала на меня так, что я не только не разубеждала его, а напротив, почти готова была разделить его взгляды.

– Неужели, невзирая на мужественное сердце, твой рассудок так слаб?

– Да, я не могу похвалиться силой рассудка. И откуда бы я могла взять ее, эту силу? Настоящие, серьезные знания я получила только от Альберта. Могла ли я не подпасть под его влияние и не разделить его заблуждений? В его уме таилось столько высоких истин, что я не могла отличить ошибочное от достоверного. Придя в пещеру, я почувствовала, что близка к помешательству. Меня особенно ужаснуло то, что, вопреки моим ожиданиям, там не оказалось Зденко. Он не появлялся уже несколько месяцев. Так как юридический продолжал гневаться на меня, Альберт отстранил его, прогнал, и, по-видимому, между ними произошла ссора, ибо Альберта, как мне казалось, мучили угрызения совести. Быть может, он думал, что расставшись с ним, Зденко покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае, Альберт говорил о нем как-то загадочно, и его таинственные недомолвки приводили меня в трепет. Я вообразила (да простит мне Бог эту мысль!), будто во время одного из своих припадков Альберт, не сумев заставить этого несчастного отказаться от намерения лишить меня жизни, отнял жизнь у него самого.

– Но за что этот Зденко так возненавидел тебя?

– Он был безумен. По его словам, он видел во сне, что я убила его господина и потом плясала на его могиле. О, принцесса, это зловещее предсказание сбылось. Любовь ко мне убила Альберта, а неделю спустя я уже пела здесь, в Берлине, в одной из самых веселых комических опер. Правда, я поступила так не по собственной воле, на душе у меня было невыразимо тяжело, но трагический конец Альберта свершился согласно зловещему предсказанию Зденко.

– Право, твой рассказ столь ужасен, что я уже ничего не понимаю и, слушая тебя, просто теряю рассудок. Но все-таки продолжай. Очевидно, впоследствии все это получит свое объяснение?

– Нет, принцесса, фантастический мир, таившийся в загадочных душах Альберта и Зденко, так и остался для меня тайной. Придется и вам удовлетвориться лишь тем, что вы узнаете дальнейшие события.

– Ах вот как! Но, надеюсь, граф Рудольштадт не убил своего бедного шута?

– Зденко не был для Альберта шутком, он был для него товарищем в минуту горя, другом, преданным слугой. Альберт оплакивал его, но, к счастью, мысль о том, чтобы пожертвовать им ради любви ко мне, никогда не приходила ему в голову. А я, безумная, я, преступная, убедилась, что он совершил это убийство. Свежий холмик, выросший в пещере, холмик, под которым, как сказал мне Альберт, покоилось самое дорогое, что было у него во всем мире до встречи со мной, а также его признание в том, что он совершил какое-то преступление, – все это привело меня в ужас. Я решила, что это могила Зденко, и выбежала из пещеры, крича, как безумная, и плача, как ребенок.

– Еще бы! – заметила госпожа фон Клейст. – Да я бы просто умерла там со страху. Нет, такой возлюбленный, как ваш Альберт, совсем бы мне не подошел. Почтенный господин фон Клейст верил в дьявола и приносил ему жертвы. Это он сделал меня такой трусихой, и, если бы я не решилась развестись с ним, думаю, что он окончательно свел бы меня с ума.

– Ну, до некоторой степени ему это удалось, – сказала принцесса Амалия. – Боюсь, что ты немного опоздала с разводом. Впрочем, не прерывай нашу графиню Рудольштадт.

– Когда я вернулась в замок вместе с Альбертом – он шел со мной, даже не думая оправдываться или опровергать мои подозрения, – я застала там... Кого? Угадайте, принцесса.

– Андзолето!

– Он назвался моим братом и ждал меня. Не знаю, каким образом, но дорогой он узнал, что я живу в замке и собираюсь обвенчаться с Альбертом, – такие слухи ходили в наших краях еще до того, как у нас это было решено, – и повернул коня. Под влиянием ли досады, искорки прежней любви ко мне или, может быть, просто из любви причинять зло он вдруг решил расстроить этот брак и отнять меня у графа. Он пустил в ход все – мольбы, слезы, все свои чары, угрозы. Внешне я казалась непреклонной, но в глубине своего низкого сердца я была поколеблена, я уже не владела собой. Благодаря той лжи, которая помогла ему войти в замок и которую я не решилась опровергнуть, хотя никогда не рассказывала Альберту об этом несуществующем брате, он провел в замке целый день. Вечером старый граф попросил нас исполнить венецианские песни. Эти песни удочерившей меня родины пробудили во мне воспоминания о детстве, о моей чистой любви, о моих прекрасных грезах, о моем ушедшем счастье. Я почувствовала, что все еще люблю... и люблю не того, кого должна, кого хочу, кого обещала любить. Андзолето шепотом заклинал меня впустить его ночью в мою комнату, угрожая, что все равно придет – придет, рискуя своей жизнью, а главное моей. Я всегда была для него только сестрой, и он приукрашивал свой план самыми благородными намерениями: якобы он готов подчиниться моему приговору, он уедет на рассвете и хочет лишь проститься со мной. Я подумала, что он способен устроить в замке шум, скандал, что у него может выйти с Альбертом какая-нибудь ужасная сцена, что я буду опозорена. Тогда я приняла отчаянное решение и осуществила его. В полночь я сложила в небольшой узел самые необходимые вещи, написала записку Альберту,

захватила небольшую сумму денег, какая у меня была, вышла из комнаты, вскочила на лошадь, на которой приехал Андзолето, заплатила проводнику, чтобы он помог мне бежать, миновала подъемный мост и добралась до ближайшего города. Верхом я ехала впервые в жизни. Проскакав галопом четыре мили, я отпустила проводника, направив его по ложному следу и сказав, что буду ждать Андзолето, моего так называемого брата, на дороге в Прагу, а сама отправилась пешком по направлению к Вене. Итак, на рассвете я оказалась одна, почти без средств, в незнакомой стране, стремясь как можно быстрее убежать от любви этих двух людей – любви, казавшейся мне одинаково губительной. Однако, должна сказать, что по прошествии нескольких часов призрак вероломного Андзолето навсегда изгладился в моей душе, а чистый образ моего благородного Альберта сопутствовал мне как символ защиты и обещание светлого будущего во всех опасностях и тяготах моего путешествия.

– Но почему же ты направилась в Вену, а не в Венецию?

– Незадолго до этого туда приехал маэстро Порпора – мой учитель, по приглашению нашего посланника. Тот хотел помочь ему поправить денежные дела и восстановить былую славу, которая померкла и отвернулась от него на фоне успехов более удачливых и более современных мастеров. К счастью, я встретила с одним чудесным юношей. Это был настоящий музыкант, и его ждало большое будущее. Когда он проходил по Богемскому Лесу, до него дошли слухи обо мне, и он решил меня разыскать, чтобы попросить моего покровительства перед маэстро Порпорой. Мы вместе отправились пешком в Вену, нередко испытывая по дороге усталость, но не теряя при этом ни веселости, ни взаимной братской дружбы. Меня особенно привлекло в нем то, что он не вздумал ухаживать за мной, – мне и в голову не приходило его остерегаться. Я переделалась в мужское платье и так хорошо сыграла роль подростка, что это вызвало множество забавных недоразумений, причем одно из них чуть не оказалось роковым для нас обоих. Чтобы не затягивать свое повествование, обойду молчанием все остальное и расскажу только об этом приключении, ибо знаю, что оно заинтересует ваше высочество больше, чем вся моя дальнейшая история.

ГЛАВА 8

– Догадываюсь, что сейчас ты расскажешь мне о нем, – сказала принцесса, облакачиваясь на стол и отодвигая подальше свечи, чтобы лучше видеть рассказчицу.

– Когда мы шли вдоль берега Влтавы, на баварской границе нас схватили вербовщики вашего брата короля, и нам обоим – мне и Гайдну – предстояла блестящая перспектива стать флейтистом и барабанщиком славной армии его величества.

– Ты – барабанщик! – со смехом вскричала принцесса. – Ах, если бы фон Клейст увидела тебя в таком костюме, ты бы вскружила ей голову, могу поручиться. Брат сделал бы тебя своим пажом, и одному Богу известно, какие бури вызвала бы ты в сердцах наших красавиц. Но ты упомянула имя Гайдна? Мне оно знакомо. Недавно мне прислали музыку какого-то Гайдна, и, насколько я помню, она хороша. Уж не тот ли это мальчик, о котором ты говоришь?

– Простите, принцесса, но этому мальчику двадцать лет, хотя на вид ему не более пятнадцати. Он был моим дорожным спутником, искренним и верным другом. На опушке одного леса наши похитители расположились позавтракать, и мы убежали. За нами погнались, но мы мчались, как зайцы, и нам посчастливилось догнать карету, в которой ехали благородный красавец Фридрих фон Тренк и бывший сердцеед граф Годиц фон Росвальд.

– Муж моей тетушки маркграфини фон Кульмбах? – воскликнула принцесса.

– Вот еще один брак по любви, фон Клейст! Впрочем, это единственный честный и умный поступок в жизни моей толстухи тетки. Каков же он, этот граф Годиц?

Консуэло начала было рисовать ей портрет владельца замка Росвальд, но принцесса то и дело перебивала ее, задавая уйму вопросов о Тренке, о том, какое платье было на нем в тот день, обо всем, что его касалось, а когда Консуэло рассказала ей, как Тренк поспешил на ее защиту, как его едва не настигла пуля, как в конце концов он обратил злодеев в бегство и освободил одного несчастного дезертира, которого те везли связанным по рукам и ногам в своей повозке, Амалия потребовала, чтобы она рассказала ей все сначала, еще более подробно, чтобы она повторила все его слова, даже самые незначительные. Радость и умиление принцессы дошли до предела, когда она узнала, что Тренк, сидя вместе с графом Годицем и двумя путешественниками в карете, не уделил Консуэло ни малейшего внимания и без конца смотрел, вздыхая, на портрет, спрятанный у него на груди, не переставая рассказывать графу о своей тайной любви к некоей высокопоставленной особе, составляющей счастье и горе всей его жизни.

Получив наконец позволение перейти к дальнейшему, Консуэло рассказала, как граф Годиц, угадавший в Пассау, что она женщина, хотел было получить за свое покровительство чересчур высокую плату и как они с Гайдном сбежали, возобновив свое короткое, но полное приключений путешествие на лодке, плывшей вниз по Дунаю.

Затем она рассказала, как они зарабатывали на хлеб, играя – она на свирели, а Гайдн на скрипке, – как крестьяне плясали под их музыку и как, наконец, однажды вечером они набрали на живописное маленькое аббатство, где Консуэло, все еще переодетая мальчиком, назвалась синьором Бертони, цыганом и странствующим музыкантом.

– Каноником этого аббатства, – продолжала Консуэло, – был страстный любитель музыки, человек умный и необыкновенно добрый. Он принял нас, в особенности меня, очень радушно и даже хотел меня усыновить, обещая хорошую бенефицию в случае, если бы я согласилась принять хотя бы низший сан. Принадлежность к мужскому полу начинала мне надоедать. Карьера священника так же мало прельщала меня, как карьера барабанщика, но одно необыкновенное происшествие вынудило меня немного продлить пребывание у нашего любезного хозяина. Некая путешественница, ехавшая на почтовых, внезапно почувствовала предродовые схватки у самых ворот аббатства и произвела на свет девочку, которую покинула на

следующее же утро и которую, под влиянием моих уговоров, добрый каноник решил удочерить вместо меня. Ее назвали Анджелой по имени ее отца, Анджолето, и госпожа Корилла, ее мать, уехала в Вену, чтобы домогаться там ангажемента в придворный театр. Она получила этот ангажемент, отняв его у меня. Князь фон Кауниц представил ее императрице Марии-Терезии как почтенную вдову, а я была отвергнута, ибо меня заподозрили в недозволенной связи с Иосифом Гайдном, который брал уроки у Порпоры и жил в том же доме, что и мы. Консуэло подробно описала свое свидание с великой императрицей. Принцесса с любопытством слушала ее рассказ об этой необыкновенной женщине, в чью добродетель никто не желал верить в Берлине, считая ее любовниками князя фон Кауница, доктора Ван-Свитена и поэта Метастазиио.

Консуэло рассказала далее о своем примирении с Кориллой, – оно произошло из-за Анджелы, – и о своем дебюте в главной роли на сцене императорского театра, дебюте, который устроила все та же Корилла, эта странная девушка, почувствовавшая угрызения совести и охваченная внезапным порывом великодушия. Она рассказала также о благородной и нежной дружбе, завязавшейся у нее с бароном фон Тренком в доме посланника в Венеции, и подробнейшим образом описала, как, прощаясь с молодым человеком, она придумала условный знак, с помощью которого они могли бы в будущем поддерживать связь друг с другом, если бы преследования прусского короля вызвали необходимость в конспирации. Этим условным знаком, сказала она, явилась некая нотная тетрадь, причем страницы ее должны были служить оберткой и заменять подпись на тех письмах, которые Тренк собирался посылать Порпорине для передачи их предмету его любви. Вот каким образом, объяснила она, одна из этих страниц и помогла ей понять всю важность таинственного послания, полученного ею для передачи принцессе.

Разумеется, эти подробности заняли больше времени, нежели весь остальной рассказ. И под конец, описывая свой отъезд из Вены вместе с Порпорой и встречу в Моравии, в роскошном замке Росвальд, с прусским королем, переодетым в мундир простого офицера и носившим имя барона фон Крейца, Консуэло вынуждена была упомянуть о важной услуге, которую она оказала монарху, не имея ни малейшего понятия, кому она ее оказывает.

– Вот это мне особенно интересно, – сказала госпожа фон Клейст. – Фон Пельниц, страшный болтун, по секрету сообщил мне, что за ужином несколько дней назад его величество объявил своим гостям, будто его дружеское расположение к прекрасной Порпорине имеет более глубокие корни, нежели мимолетное увлечение.

– А между тем я не сделала ничего необыкновенного, – возразила графиня Рудольштадт. – Я только воспользовалась своим влиянием на одного несчастного фанатика и помешала ему убить короля. Карл – тот самый чешский великан, которого барон фон Тренк вырвал из рук вербовщиков одновременно со мной, – поступил в услужение к графу Годицу. Он узнал короля и решил отомстить ему за смерть жены и ребенка, погибших от нужды и горя после того, как его самого увезли вторично. К счастью, этот человек не забыл, что я тоже способствовала его спасению и когда-то дала его жене немного денег. Он поддался моим уговорам, и мне удалось отнять у него ружье. Король, скрывавшийся в соседней беседке, слышал все – он рассказал мне об этом впоследствии – и, опасаясь, как бы на убийцу снова не нашел приступ ярости, уехал другой дорогой, не той, где намеревался ждать его Карл. Король ехал верхом один – его сопровождал только господин фон Будденброк, и весьма вероятно, что такой искусный стрелок, как Карл, попал бы в цель; на празднестве, которое в то самое утро устроил в нашу честь граф Годиц, он трижды попал на моих глазах в голубя на шесте.

– Кто знает, – задумчиво произнесла принцесса, – какие изменения вызвало бы это несчастье в европейской политике и в судьбах отдельных лиц! А теперь, дорогая Рудольштадт, я, кажется, знаю конец твоей истории вплоть до кончины графа Альберта. В Праге ты встретишься с бароном – его дядей, который привез тебя в замок Исполинов, и Альберт при тебе умер

от чахотки, успев перед этим обвенчаться с тобой на смертном одре. А ты, стало быть, так и не смогла его полюбить?

– Увы, принцесса, я полюбила его слишком поздно и была жестоко наказана за свои колебания и страсть к театру. Порпора, мой учитель, утаил последние письма Альберта, обманул меня относительно его намерений, и вот, решив, что граф уже излечился от своей роковой любви, я по настоянию маэстро выступила в Вене, поддавшись обаянию сцены и, ожидая приглашения в Берлин, начала играть в Вене с чувством, похожим на опьянение.

– И с блестящим успехом! – вставила принцесса. – Мы знаем об этом.

– С жалким и гибельным успехом, – возразила Консуэло. – Ваше высочество знает не все. Ведь Альберт тайно прибыл в Вену, он видел мою игру; следя, словно незримая тень, за каждым моим шагом, он услышал однажды, как я сказала за кулисами Гайдну, что не смогла бы отказаться от своего искусства без горьких сожалений. А между тем я любила Альберта! Клянусь Богом, я поняла, что отказаться от него мне было бы еще труднее, чем от своего призвания, и написала ему об этом, но Порпора, считавший любовь химерой и безумием, перехватил мое письмо и сжег его. Я застала Альберта погибающим от скоротечной чахотки. Я отдала ему свою руку, но не смогла вернуть к жизни. Я видела, как он лежал на роскошной постели в костюме средневекового вельможи, прекрасный в объятиях смерти, с челом, спокойным как у ангела Всепрощения, но мне не пришлось проводить его в последний путь. Я оставила его на катафалке в часовне замка Исполинов под охраной Зденко, этого жалкого безумного пророка. Он протянул мне руку, смеясь и радуясь тому, что Альберт спит так спокойно. Именно он, более почтительный, более верный друг, чем я, поставил гроб в усыпальницу предков Альберта, не понимая, что тот уже никогда не встанет с этого ложа успокоения! А я – я уехала, увлекаемая маэстро Порпорой, другом преданным, но суровым, человеком с сердцем отеческим, но непреклонным, с Порпорой, который кричал мне почти над гробом моего супруга: «В ближайшую субботу ты выступишь в „Забавных музыкантах“!»

– Да, таковы превратности жизни актрисы! – сказала принцесса, смахивая слезу, потому что Порпорина рыдала, кончая свою историю. – Но ты даже не упомянула, дорогая Консуэло, о самом прекрасном поступке в твоей жизни, о том, что мне с восторгом рассказал Сюпервиль. Чтобы не огорчать старую канониссу и не изменить своему романтическому бескорыстию, ты отказалась от титула, от наследства, от имени. Ты потребовала соблюдения тайны от Сюпервиля и Порпоры, единственных свидетелей этой поспешной свадьбы, и приехала сюда такой же бедной, как прежде, такой же цыганочкой, какой была всегда.

– И актрисой до конца своих дней! – добавила Консуэло. – Я хочу сказать – независимой, девственной и мертвой для какой бы то ни было любви. Словом, такой, какую Порпора постоянно рисовал мне идеальный тип жрицы муз! Он победил, мой грозный учитель! И вот я дошла до той ступени, на которой он хотел меня видеть. Но, право, не стала от этого ни более счастливой, ни более талантливой. С тех пор как я никого не люблю и уже не чувствую себя способной любить, во мне больше нет ни огня, ни вдохновения. Этот ледяной климат, эта гнетущая дворцовая атмосфера повергают меня в какое-то мрачное уныние. Отсутствие Порпоры, ощущение заброшенности и прихоть короля, который затягивает мой ангажемент вопреки моей воле... ведь вам, принцесса, я могу признаться в этом, не так ли?

– Как я могла не угадать этого прежде? Бедное дитя, все думают, что ты гордишься предпочтением короля, а в действительности ты его пленница и раба, как я, как вся его семья, как его любимцы, его солдаты, его пажи, как его собачки. Да, таково обаяние королевского титула, таков ореол, окружающий великих государей! Как тяжело это бремя для тех, кто тратит жизнь, доставляя им лучи света и блеск! Однако, милая Консуэло, ты должна еще многое рассказать мне, и кое-что живо меня интересует. Надеюсь, ты откровенно скажешь мне, какие отношения связывают тебя с моим братом, и для этого буду откровенна сама. Считаю тебя его любовницей и думая, что ты сможешь добиться помилования Тренка, я искала встречи с тобой, чтобы

передать наше дело в твои руки. Теперь, когда – благодарение небу! – мы уже не нуждаемся в тебе для этой цели и я счастлива, что могу любить тебя ради тебя самой, мне кажется, ты можешь сказать мне все, не боясь скомпрометировать себя, – тем более что, по-видимому, брат не слишком преуспел в своих ухаживаниях за тобой...

– Ваш тон и ваши выражения, принцесса, повергают меня в трепет, – ответила Консуэло, побледнев. – Прошла всего неделя с тех пор, как я впервые услышала, как люди вокруг меня с серьезным видом перешептываются по поводу мнимой склонности нашего повелителя короля к его печальной и робкой подданной. До того я никогда не предполагала, что между ним и мною возможно что-либо, кроме оживленной беседы, благосклонной с его стороны, почтительной – с моей. Он выказывал мне дружеское расположение и признательность, каких вовсе не заслуживала вполне естественная с моей стороны услуга, которую я случайно оказала ему в Росвальде. Но отсюда до любви – целая пропасть, и, надеюсь, даже мысленно он никогда не переступит ее!

– А я уверена в обратном. Он резок, насмешлив и фамильярен с тобой, разговаривает с тобой, как с мальчишкой, гладит тебя по голове, как гладят своих борзых. Вот уже несколько дней, как он убеждает своих друзей, будто ты ему безразлична. Все это доказывает, что он готов влюбиться в тебя. Я хорошо его знаю и ручаюсь, что очень скоро тебе придется дать ему ответ. Если ты окажешь сопротивление – ты погибла. Если уступишь – тем более. Что ты выберешь, когда наступит эта минута?

– Ни то, ни другое, принцесса. Я поступлю так, как его рекруты, попросту сбегу.

– Это нелегко, и к тому же я вовсе этого не хочу. Я так сильно привязалась к тебе, что, пожалуй, готова была бы еще раз послать за тобой вербовщиков. Лучше поищем другой выход. Твое положение весьма серьезно, и надо хорошенько поразмыслить. Расскажи мне все, что произошло после смерти графа Альберта.

– Несколько странных, необъяснимых событий на фоне унылой, однообразной жизни. Я расскажу их вам, и, может быть, ваше высочество поможет мне понять их.

– Попробую, но с условием, что ты будешь называть меня Амалией, как вначале. Сейчас еще нет полуночи, и я не хочу превращаться в высочество до завтрашнего утра.

Порпорина продолжала свой рассказ.

– Я уже говорила госпоже фон Клейст, когда она впервые удостоила меня своим посещением, что, уезжая из Чехии, я была внезапно разлучена с Порпорой на прусской границе. Я до сих пор не знаю, в чем причина, – в том ли, что у моего учителя оказались не в порядке бумаги, или же в том, что король опередил нас, послав приказ, долетевший с чудодейственной быстротой и запретивший Порпоре въезд в его владения. Эта мысль, быть может, предосудительная, сразу пришла мне в голову, едва я вспомнила, как резко и с какой вызывающей откровенностью маэстро защищал честь Тренка и осуждал жестокость короля. Это произошло во время ужина у графа Годица в Моравии, после того, как король, выдававший себя за барона фон Крейца, сообщил нам о мнимой измене Тренка и о его заточении в крепость Глац.

– Ах вот как! – вскричала принцесса. – Значит, маэстро Порпора навлек на себя королевскую немилость из-за Тренка?

– Король ни разу не заговаривал со мной об этом, а я боюсь напоминать ему, но ясно одно: несмотря на все мои просьбы и на обещания его величества, Порпора так и не был приглашен в Берлин.

– И никогда не будет, – сказала Амалия. – Король ничего не забывает и никогда не прощает откровенности, если она уязвляет его самолюбие. Северный Соломон ненавидит и преследует каждого, кто сомневается в непогрешимости его решений, и особенно в тех случаях, когда его приговор является лишь явным притворством, лишь возмутительным предложением, чтобы избавиться от врага. Итак, похорони эту мечту, дитя мое, ты никогда не увидишь Порпору в Берлине.

– Как я ни огорчена его отсутствием, у меня уже нет желания видеть его здесь, принцесса. И я не буду больше добиваться для него прощения короля. Сегодня утром я получила от моего учителя письмо, где он сообщает, что его опера принята к постановке в венском императорском театре. После тысячи злоключений он добился своего, и его творение наконец-то будет репетироваться. Теперь я предпочла бы сама переехать к нему в Вену, но боюсь, что я так же не вольна уехать отсюда, как не вольна была отказаться от приезда сюда.

– Что ты хочешь этим сказать?

– На границе, увидев, что моего учителя заставляют снова сесть в коляску и повернуть обратно, я решила уехать с ним и порвать ангажемент с Берлином. Меня до того возмутили грубость и явная недоброжелательность подобного приема, что я готова была уплатить неустойку и работать в поте лица, только бы не ехать в страну, где господствует такой деспотизм. Но стоило мне заикнуться о своем намерении, как полицейский чиновник приказал мне сесть в другую почтовую карету, заложенную и поданную в мгновение ока, меня окружили солдаты, которые не задумались бы усадить меня силой, и я со слезами обняла своего учителя, решившись ехать в Берлин, куда прибыла в полночь, разбитая усталостью и горем. Меня привезли в принадлежащий королю хорошенький домик, который находился совсем близко от дворца и неподалеку от оперного театра. Судя по его устройству, он был предназначен для меня одной. Там я нашла слуг, готовых исполнять мои распоряжения, и накрытый для ужина стол. Оказывается, господин фон Пельниц заранее получил приказание приготовить все к моему приезду. Не успела я немного прийти в себя, как явился человек и спросил, могу ли я принять барона фон Крейца. Я поспешила ответить согласием, сгорая от нетерпения пожаловаться на прием, оказанный Порпоре, и попросить загладить это оскорбление. Я решила не узнавать в бароне фон Крейце Фридриха Второго. Ведь это могло быть мне неизвестно. Дезертир Карл, сообщив по секрету о своем намерении убить его, как прусского обер-офицера, не сказал мне, кто он, эту тайну я узнала от графа Годица лишь после того, как король покинул Росвальд. Он вошел с таким приветливым и веселым видом, какого я ни разу не видела, когда он жил инкогнито. Нося чужое имя, в чужой стране он чувствовал себя несколько стесненно, в Берлине он, по видимому, обрел все величие, подобающее его высокому положению, другими словами – отеческую доброту и великодушную мягкость, какими он так хорошо умеет при случае украсить свое всемогущество. Он подошел ко мне и, протягивая руку, спросил, помню ли я, что мы уже встречались прежде. «Да, господин барон, – ответила я, – и я помню также, что вы обещали прийти мне на помощь, если она мне понадобится в Берлине».

Тут я с горячностью рассказала ему все, что произошло со мной на границе, и спросила, не может ли он передать королю просьбу о том, чтобы оскорбление, нанесенное прославленному музыканту, и насилие над моей волей были заглажены.

«Заглажены! – повторил король с иронической улыбкой. – Не более того? Уж не собирается ли господин Порпора вызвать прусского короля на поединок? А мадемуазель Порпорина потребует, пожалуй, чтобы король встал перед ней на колени?»

Эта язвительная насмешка усилила мою досаду.

«Его величество король, – ответила я, – может добавить к тому, что я уже перестрадала, свою иронию, но я предпочла бы иметь возможность благословлять его, а не бояться».

Король резко стиснул мою руку.

«Ах так! Вы хотите меня перехитрить, – сказал он, устремив на меня испытующий взор. – Я считал вас прямодушной и бесхитростной, а вы, оказывается, отлично знали в Росвальде, кто я».

«Нет, государь, – ответила я. – Я вас не знала, и лучше бы мне никогда не знать вас!»

«Я не могу сказать того же, – мягко возразил он. – Ведь если бы не вы, я, может быть, остался бы лежать в каком-нибудь рву росвальдского парка. Успех в сражениях отнюдь не защищает от пули убийцы, и я никогда не забуду, что если судьба Пруссии еще находится в

моих руках, то этим я обязан одной доброй душе, которая не терпит подлых заговоров. Итак, милая Порпорина, ваше дурное настроение не сделает меня неблагодарным. Прошу вас, успокойтесь и расскажите более вразумительно, что именно вызвало ваше недовольство, ибо пока что я не совсем понял, о чем идет речь».

Возможно, что король только делает вид, будто ничего не знает, а может быть, его полицейские чиновники действительно обнаружили какую-нибудь неправильность в бумагах моего учителя, но он выслушал меня с большим вниманием и затем сказал спокойным тоном судьи, не желающего высказывать необдуманное решение:

«Я все проверю и сообщу вам. Было бы очень странно, если бы мои люди придрались без достаточных оснований к путешественнику, у которого все в порядке. Тут какое-то недоразумение. Не тревожьтесь, я выясню, в чем дело, и, если кто-нибудь превысил свои полномочия, он будет наказан».

«Государь, я прошу не об этом. Я прошу вызвать Порпору сюда».

«И я обещаю вам сделать это, – ответил он. – А теперь перестаньте хмуриться и расскажите, каким образом вы открыли тайну моего инкогнито».

Я непринужденно беседовала с королем, и он показался мне таким добрым, таким приветливым, таким интересным собеседником, что все мои предубеждения рассеялись, и я лишь восхищалась его умом, здравым и вместе с тем блестящим, мягкой благосклонностью его обращения, – я не обнаружила этого качества у Марии-Терезии, – и, наконец, тонкостью чувств, которая проявлялась во всех его суждениях, какой бы темы он ни коснулся.

«Послушайте, – сказал он, берясь за шляпу, – я хочу сразу же дать вам один дружеский совет: никому не говорите ни об услуге, которую вы мне оказали, ни о моем сегодняшнем визите. Хотя в моем нетерпении поблагодарить вас нет ничего предосудительного для нас обоих, даже напротив, это могло бы вызвать совершенно ложное представление о наших отношениях – отношениях возвышенной духовной близости, какие мне хотелось бы завязать с вами. Люди вообразят, что вы стремитесь к „благосклонности властелина“ – так называют это придворные на своем языке. Вы станете предметом недоверия для одних и зависти – для других. Наименьшее из неудобств будет то, что к вам потянется рой просителей, которые захотят передавать через вас свои нелепые ходатайства. А так как вы, разумеется, слишком благоразумны, чтобы согласиться на роль посредницы, вам придется терпеть либо их навязчивые требования, либо враждебность».

«Обещаю вести себя так, как приказывает ваше величество», – ответила я.

«Я ничего не приказываю вам, Консуэло, – возразил он. – Просто я рассчитываю на ваш здравый смысл и на ваше прямодушие. С первого взгляда я разглядел в вас прекрасное сердце и справедливый ум. Мне захотелось сделать вас жемчужиной моего департамента изящных искусств, – вот почему я и послал из глубины Силезии приказ приготовить вам за мой счет карету, которая должна была доставить вас сюда немедленно по вашему прибытии на границу. Не моя вина, если эта карета превратилась для вас в подобие тюрьмы на колесах и что вас разлучили с вашим покровителем. А пока его нет, я хочу заменить вам его, если вы сочтете меня достойным такого же доверия и такой же привязанности».

– Признаюсь вам, милая Амалия, что меня глубоко растрогал этот отеческий тон, это утонченное проявление дружбы. Быть может, к этому чувству примешалась и некоторая доля тщеславия, но только слезы выступили у меня на глазах, когда на прощание король протянул мне руку. Я чуть было не поцеловала ее, и, должно быть, именно таков был мой долг, но раз уж я исповедуюсь вам, то должна сказать, что в этот миг меня вдруг охватил ужас, и холод недоверия словно сковал мои движения. Мне показалось, что король столь ласково беседовал со мной и льстил моему самолюбию лишь для того, чтобы помешать мне рассказывать ту сцену в Росвальде, которая могла бы произвести на иных впечатление, способное неблагоприятно отразиться на его политике. Мне показалось также, что он боится стать смешным в глазах тех,

кто узнал бы о его доброте и признательности по отношению ко мне. И, кроме того, внезапно, в какую-то долю секунды, мне припомнилось все – страшный военный режим Пруссии, описанный бароном фон Тренком, жестокость вербовщиков, несчастья Карла, заточение благородного Тренка, которое я приписывала его участию в освобождении бедного дезертира, крики солдата, которого наказывали однажды утром, когда я проезжала мимо какой-то деревни, – вся эта деспотическая система, составляющая силу и славу Великого Фридриха. Я уже не могла ненавидеть его самого, но вновь увидела в нем неограниченного властелина, прирожденного врага всех простых сердец, не понимающих необходимости бесчеловечных законов и не способных проникнуть в тайны империи.

ГЛАВА 9

– После этого дня, – продолжала Порпорина, – король ни разу не был у меня, но иногда он приглашал меня в Сан-Суси, где я проводила по несколько дней вместе с Порпорино или Кончолини, моими товарищами, а также сюда, во дворец, где я участвовала в его маленьких концертах и аккомпанировала скрипке господина Грауна, Бенды или же флейте господина Кванца, а иногда и самого короля.

– Последнее значительно менее приятно, – сказала прусская принцесса. – Я по опыту знаю, что, когда мой дорогой брат берет фальшивую ноту или не попадает в такт, он сердится на своих партнеров и возлагает всю вину на них.

– Это правда, – ответила Порпорина, – и даже его искусный учитель, господин Кванц, не всегда бывает огражден от этих мелочных и несправедливых упреков. Зато если королю случается вспылить, он быстро заглаживает свою вину какими-нибудь знаками уважения или тонкими похвалами, льющими бальзам на раны уязвленного самолюбия. Даже артисты, самые обидчивые в мире люди, прощают ему за ласковое слово или просто за возглас восхищения все его резкости и вспышки гнева.

– Но после того, что ты о нем знала, – ты, такая скромная и прямая, неужели и ты поддалась чарам этого василиска?

– Должна признаться, принцесса, что я, сама того не замечая, нередко испытывала на себе его обаяние. Все эти мелкие хитрости всегда были мне чужды, и я каждый раз оказывалась обманутой, а если и разгадываю их, то лишь потом, хорошенько поразмыслив. Часто мне приходилось видеть короля в театре, а иногда после спектакля он даже заходил в мою уборную. И всегда он бывал со мной отечески ласков. Но мы никогда не оставались наедине, если не считать двух или трех встреч в садах Сан-Суси, да и то, должна признаться, это я сама проследила часы его прогулок и старалась попасться ему на глаза. В подобных случаях он подзывал меня или сам любезно шел мне навстречу, и я пользовалась минутой, чтобы заговорить с ним о Порпоре и напомнить о моей просьбе. Все время я получала те же самые обещания, но они так и не были исполнены. Впоследствии я изменила тактику и стала просить позволения уехать в Вену, но король отвечал мне то ласковым упреком, то ледяной холодностью, а чаще всего проявлял явное раздражение. Так что и эта моя попытка оказалась столь же безуспешной. Правда, как-то раз король сухо ответил мне: «Поезжайте, мадемуазель, вы свободны». Но даже и после этого я не получила ни полного расчета, ни бумаг, ни подорожной. Итак, ничто не изменилось, и, если мое положение делается невыносимым, я вижу только один выход – бегство. Увы, принцесса! Меня часто коробило отсутствие у Марии-Терезии музыкального вкуса, но я и не подозревала тогда, что король-меломан гораздо более опасен, чем императрица, лишенная слуха.

Вот, в сущности, и все, что я могу рассказать вам о моих отношениях с его величеством. Ни разу у меня не было повода испугаться или просто заподозрить его в фантазии полюбить меня, – фантазии, которую вашему высочеству угодно было ему приписать. Правда, я испытывала иногда гордость при мысли о том, что благодаря некоторому музыкальному таланту и тому необыкновенному случаю, когда мне посчастливилось спасти королю жизнь, он питает ко мне нечто вроде дружбы. Он не раз говорил мне это и говорил так мило, с такой непринужденной откровенностью, он как будто испытывал от беседы со мной такое неприкрытое, исполненное такого благоволения удовольствие, что я, быть может бессознательно и, уж конечно, невольно, привыкла отвечать ему столь же своеобразной дружбой. Это слово звучит странно в моих устах и, без сомнения, кажется неуместным, но чувство горячей почтительности и робкого доверия, какое мне внушают присутствие, взгляд, голос и ласковые речи этого царственного василиска, как вы его назвали, столь же необычно, сколь искренно. Мы собрались здесь, чтобы говорить все, и условились, что я буду откровенна до конца. Так вот – признаюсь вам, что король вну-

шает мне страх, почти ужас, когда я его не вижу и только дышу разреженным воздухом его империи, но стоит мне увидеть его, как я подпадаю под его обаяние и готова любым способом доказать ему всю ту преданность, какую застенчивая, но любящая дочь может питать к строгому, но доброму отцу.

– Я вся дрожу! – вскричала принцесса. – О боже! А вдруг ты поддашься его влиянию или его чарам настолько, что выдашь нашу тайну!

– О нет, принцесса. Не бойтесь, этого никогда не будет. Когда дело касается моих друзей и вообще кого бы то ни было, кроме меня самой, то не только королю, но даже и более искусным фарисеям, если они существуют, не удастся поймать меня в ловушку.

– Я тебе верю. Твое чистосердечие оказывает на меня такое же действие, какое на тебя оказывает Фридрих. Ну, ну, не сердись, я вовсе не сравниваю вас. Продолжай свою историю и расскажи о Калиостро. Мне говорили, что на одном сеансе магии он показал тебе мертвеца, который, как я предполагаю, оказался графом Альбертом.

– Я готова исполнить ваше желание, благородная Амалия, но если уж я решусь рассказать вам еще одну тягостную историю, о которой хочу, но не могу забыть, то, по нашему условию, я тоже имею право задать вам несколько вопросов.

– Я готова тебе ответить.

– Если так, скажите, принцесса, верите ли вы, что мертвые могут выходить из могилы, или по крайней мере что маги способны показать нам их лица, одушевленные какимто подобием жизни, причем эти видения могут до такой степени завладеть нашим воображением, что мы почти теряем рассудок и видим их собственными глазами?

– Вопрос этот очень сложен, и я могу ответить только одно: я не верю в то, чего не может быть. Не верю ни в магию, ни в воскрешение мертвых. А вот наше бедное, безумное воображение – оно способно на все, в это я верю.

– Ваше высочество... прости, твое высочество не верит в магию, а между тем... Но может быть, этот вопрос будет нескромным?..

– Закончи свою мысль: между тем я посвятила себя магии? Да, это всем известно. Но позволь мне, дитя мое, объяснить тебе эту странную непоследовательность в более подходящую минуту. Уже при виде таинственной тетрадки, присланной через чародея Сен-Жермена и оказавшейся письмом, адресованным мне Тренком, ты могла бы понять, что вся эта мнимая некромантия способна служить ширмой для чего угодно. Но не могу же я за такой короткий срок открыть тебе все то, что она скрывает от глаз толпы, что она утаивает от шпионов, шныряющих при дворах, и от тирании законов. Наберись терпения, я решила приобщить тебя ко всем моим тайнам. И ты заслуживаешь этого гораздо больше, чем моя дорогая фон Клейст, потому что она труслива и суеверна. Да, этот ангел доброты, эта кроткая душа не обладает здравым смыслом. Она верит в дьявола, в чародеев, в привидения, в предзнаменования, верит так, словно не в ее руках были сосредоточены тайные нити всей этой грандиозной аферы. Она напоминает тех алхимиков минувших времен, которые терпеливо и умело создавали уродов, а потом до такой степени пугались своих собственных созданий, что становились рабами какого-нибудь чертика, вышедшего из их реторты.

– Быть может, я и сама оказалась бы не храбрее госпожи фон Клейст, – возразила Порпорина, – и должна признаться, что мне довелось стать свидетелем власти, если даже не всемогущества Калиостро. Вообразите, что, пообещав показать задуманного мною человека, имя которого он якобы прочитал в моих глазах, он показал мне другое лицо и – более того – показал мне его живым, как будто и не подозревая, что тот умер. И все же, несмотря на эту двойную ошибку, он воскресил перед моими глазами покойного моего супруга, и это навсегда останется для меня мучительной и страшной загадкой.

– Он показал тебе какой-нибудь призрак, а твое воображение дополнило все остальное.

– Воображение тут совершенно ни при чем, могу вас уверить. Я ожидала, что увижу через стекло или сквозь прозрачную завесу изображение маэстро Порпоры. Дело в том, что за ужином я несколько раз заговаривала о нем и, выражая сожаление по поводу его отсутствия, заметила, что господин Калиостро внимательно прислушивается к моим словам. Чтобы облегчить ему задачу, я мысленно представила себе лицо моего учителя и ждала совершенно спокойно, пока еще не принимая этот опыт всерьез. И хотя мысль об Альберте никогда не покидает меня, как раз в этот момент я не думала о нем. Входя в колдовскую лабораторию, Калиостро спросил, позволю ли я завязать себе глаза и согласна ли пойти с ним, держась за его руку. Зная, что он человек воспитанный, я согласилась без колебаний, но при условии, что он ни на минуту не оставит меня одну. «А я как раз и собирался, – сказал он мне, – попросить вас не отходить от меня ни на шаг и не выпускать моей руки, что бы ни случилось и какое бы волнение вы ни испытали». Я обещала, но это его не удовлетворило, и он заставил меня торжественно поклясться, что, когда появится видение, я не сделаю ни одного жеста, не издам ни одного восклицания, словом, буду безмолвна и неподвижна. Затем он надел перчатку и, накинув мне на голову черный бархатный капюшон, ниспадающий до самых плеч, повел меня куда-то. Мы шли так около пяти минут, но я не слышала, чтобы закрывалась или открывалась хоть одна дверь. Благодаря капюшону я не чувствовала никакого изменения воздуха и не знаю, выходили мы из кабинета или нет: чтобы помешать мне запомнить направление, Калиостро заставил меня проделать множество кругов и поворотов. Наконец он остановился и снял с меня капюшон, но сделал это так легко, что я ничего не заметила. Мне стало легче дышать, и только поэтому я поняла, что перед глазами у меня уже нет преграды, но вокруг был такой глубокий мрак, что и без капюшона я ровно ничего не видела. Однако через некоторое время я различила перед собой звезду, сначала мерцающую и бледную, а потом сверкающую и яркую. В первое мгновение она показалась мне очень отдаленной, но, став яркой, совсем приблизилась. Вероятно, это зависело от более или менее сильного света, проникавшего сквозь прозрачную завесу. Калиостро подвел меня к этой звезде, как бы врезанной в стену, и по ту сторону я увидела странно убранную комнату с множеством свечей, размещенных в определенном порядке. Эта комната своим убранством и расположением казалась вполне подходящей для какого-нибудь колдовского действия. Но я не успела хорошенько ее разглядеть; мое внимание сразу приковал к себе человек, сидевший за столом. Он сидел один, закрыв руками лицо, видимо, погруженный в глубокое раздумье. Итак, я не могла рассмотреть его черты, и фигуру его тоже скрывало одеяние, какого я никогда ни на ком не видела. Насколько я могла различить, это была белая шелковая мантия или плащ на ярко-красной подкладке, застегнутый на груди какими-то золотыми иероглифическими эмблемами, среди которых я различила розу, крест, треугольник, череп и несколько роскошных разноцветных лент. Я поняла одно – это был не Порпора. Но через минуту или две это таинственное существо, которое я уже начала принимать за статую, медленно опустило руки, и я отчетливо увидела лицо графа Альберта – не такое, каким видела его в последний раз, с печатью смерти, нет, бледное, но живое, одухотворенное и безмятежно ясное, словом, такое, каким оно бывало в лучшие часы его жизни – в часы спокойствия и доверия. Я чуть было не вскрикнула и не разбила невольным движением стекло, которое нас разделяло, но Калиостро сильно сжал мне руку, и это напомнило мне о моей клятве; я почувствовала смутный страх. К тому же в эту минуту в глубине комнаты, где сидел Альберт, открылась дверь, и туда вошли несколько незнакомых людей, одетых почти так же, как он, и со шпагами в руках. Прodelав какие-то странные телодвижения, словно играя пантомиму, они поочередно обратились к нему с торжественными и непонятными словами. Он встал, подошел к ним и ответил им столь же непонятно, хотя теперь я знаю немецкий язык не хуже, чем родной. Их речи походили на те, какие мы порой слышим во сне, да и вся необычность этой сцены, чудесное появление этого призрака так напоминали сон, что я сделала попытку шевельнуться, желая убедиться, что не сплю. Но Калиостро заставил меня стоять

неподвижно, да и голос Альберта был так хорошо мне знаком, что я уже не могла сомневаться в реальности того, что вижу. Поддавшись непреодолимому желанию заговорить с ним, я готова была забыть свою клятву, как вдруг черный капюшон вновь опустился на мои глаза. Я быстро сорвала его, но светлая звезда уже исчезла, и все погрузилось в крошечный мрак. «Если вы сделаете хоть малейшее движение, – глухо прошептал Калиостро дрожащим голосом, – ни вы, ни я – мы никогда больше не увидим света». Я нашла в себе силы последовать за ним, и мы еще долго зигзагами шагали в неведомом пространстве. Наконец он в последний раз снял с меня капюшон, и я оказалась в его лаборатории, освещенной так же слабо, как и в начале нашего приключения. Калиостро был очень бледен и все еще дрожал, как прежде, во время нашего перехода. Тогда тоже рука его, державшая мою руку, судорожно вздрагивала, и он очень торопил меня, видимо испытывая сильный страх. С первых же слов он начал горько упрекать меня за недобросовестность, с какой я нарушила свои обещания и едва не подвергла его ужасной опасности. «Мне бы следовало помнить, – добавил он суровым и негодующим тоном, – что честное слово женщин ни к чему их не обязывает и что ни в коем случае нельзя уступать их праздному и дерзкому любопытству».

Пока что я не разделяла страха моего проводника. Я увидела Альберта живым – и это так меня потрясло, что я даже не задала себе вопроса, возможно ли это. На миг я забыла о том, что смерть навсегда отняла у меня моего милого, дорогого друга. Однако волнение Калиостро наконец напомнило мне, что все это было лишь чудом, что я видела призрак. И все-таки мой рассудок стремился отвергнуть все сомнения, а язвительные упреки Калиостро вызвали во мне какое-то болезненное раздражение, которое избавило меня от слабости. «Вы притворяетесь, будто принимаете всерьез ваши собственные лживые измышления, – с горячностью возразила ему я, – но это жестокая игра. Да, да, вы играете с самым священным, что есть в мире, – со смертью».

«Душа неверующая и слабая, – ответил он с горячностью, но внушительно. – Вы верите в смерть, как верит в нее толпа. А ведь у вас был великий наставник – наставник, сотни раз повторявший вам: „Никто не умирает, ничто не умирает, смерти нет“. Вы обвиняете меня во лжи и как будто не знаете, что единственной ложью является во всем этом слово смерть, которое сорвалось с ваших нечестивых уст». Признаюсь, этот странный ответ взволновал меня и на миг победил сопротивление моего смятенного ума. Как мог этот человек быть так хорошо осведомлен не только о моих отношениях с Альбертом, но даже и о тайне его учения? Разделял ли он его веру, или просто воспользовался ею как оружием, чтобы покорить мое воображение?

Я была растеряна и сражена. Но вскоре я поняла, что не могу разделить этот грубый способ истолкования верований Альберта и что только от Бога, а не от обманщика Калиостро зависит вызывать смерть или пробуждать жизнь. Убедившись наконец, что я была жертвой иллюзии, которая в эту минуту казалась мне необъяснимой, но могла получить какое-то объяснение в будущем, я встала и, холодно похвалив искусство мага, спросила у него с легкой иронией, что означали странные речи, которыми обменивались его призраки. На это он ответил, что не может удовлетворить мое любопытство и что я должна быть довольной уже тем, что видела этого человека исполненным спокойствия и занятым полезной деятельностью. «Вы напрасно стали бы спрашивать у меня, – добавил он, – каковы его мысли и поступки в жизни. Я ничего о нем не знаю, не знаю даже его имени. Когда вы стали о нем думать и попросили показать вам его, между ним и вами образовалась таинственная связь, и моя власть оказалась настолько сильной, что он предстал перед вами. Дальше этого мое искусство не идет».

«Ваше искусство не дошло и до этого, – сказала я. – Ведь я думала о маэстро Порпоре, а ваша власть вызвала образ совсем другого человека».

«Я ничего не знаю об этом, – ответил он с пугающей искренностью, – и даже не хочу знать. Я ничего не видел ни в ваших мыслях, ни в колдовском изображении. Мой рассудок не выдержал бы подобных зрелищ, а мне, чтобы пользоваться своей властью, необходимо сохра-

нять его в полной ясности. Но законы магии непогрешимы, и, значит, сами того не сознавая, вы думали не о Порпоре, а о другом человеке».

– Вот они, прекрасные речи маньяков! – сказала принцесса, пожимая плечами. – У каждого свои приемы, но все они с помощью какого-либо хитроумного рассуждения, которое можно, пожалуй, назвать логикой безумия, всегда умеют выпутаться из затруднительного положения и своими выпренными речами сбить собеседника с толку.

– Уж я-то, бесспорно, была сбита с толку, – продолжала Консуэло, – и совсем потеряла способность рассуждать здраво. Появление Альберта, действительное или мнимое, заставило меня еще острее ощутить свою утрату, и я залилась слезами.

«Консуэло! – торжественно произнес маг, предлагая мне руку, чтобы помочь выйти из комнаты. (И можете себе представить, как поразило меня еще и это – мое настоящее имя, никому здесь неизвестное и прозвучавшее вдруг в его устах.) Вам надо искупить серьезные прегрешения, и, я надеюсь, вы сделаете все, чтобы вновь обрести спокойную совесть». У меня не хватило сил ответить ему. Оказавшись среди друзей, нетерпеливо ожидавших меня в соседней комнате, я тщетно пыталась скрыть от них слезы. Я тоже испытывала нетерпение – нетерпение как можно скорее уйти от них, и, оставшись одна, на свободе предалась своему горю. Всю ночь я провела без сна, вспоминая и обдумывая события этого рокового вечера. Чем больше я старалась понять их, тем больше запутывалась в лабиринте догадок и, признаюсь, мои домыслы были более безумны и более мучительны, чем могла бы быть слепая вера в пророчества магии. Утомленная этой бесплодной работой мозга, я решила отложить свое суждение, пока на эту историю не прольется хоть луч света, но с тех пор я сделалась болезненно впечатлительной, подверженной нервическим припадкам, неуравновешенной и смертельно грустной. Я не ощущаю потерю друга острее, чем прежде, но угрызения совести, – а они немного заглохли во мне после его великодушного прощения, – теперь не перестают меня мучить. Продолжая выступать на сцене, я быстро пресытилась суетным опьянением успеха, а кроме того, в этой стране, где души людей представляются мне такими же угрюмыми, как ваш климат...

– И как деспотизм, – добавила аббатиса.

– В этой стране, где, кажется, я и сама сделалась печальной и холодной, мое пение не сможет развиваться так, как я мечтала...

– Да разве твое пение еще нуждается в этом? Мы никогда не слышали такого голоса, как твой, и я думаю, что во всем мире нет подобного совершенства. Я говорю то, что думаю, и моя похвала – это не комплимент в духе Фридриха.

– Даже если бы суждение вашего высочества было справедливо (а я не берусь судить об этом, ибо, кроме певиц Романины и Тези, слышала до сих пор только самое себя), – с улыбкой возразила Консуэло, – мне кажется, что человек всегда может к чему-то стремиться и что-то находить сверх того, что он уже сделал. Да, я могла бы приблизиться к тому идеалу, о котором всегда мечтала, если бы моя жизнь была деятельной, полной борьбы, дерзаний, разделенных привязанностей, словом – вдохновения! Но холодная регулярность, которая царит здесь, военная дисциплина, установленная даже за кулисами театра, спокойная и неизменная благосклонность публики, которая, слушая нас, думает о своих делах, высокое покровительство короля, заранее обеспечивающее нам успех, отсутствие соперничества и обновления как в составе артистов, так и в репертуаре, а главное, мысль о нескончаемом плене, – вся эта обыденная, полная равнодушного труда, унылой славы и невольной бережливости жизнь в Пруссии отняла у меня надежду и даже охоту совершенствоваться. Бывают дни, когда я чувствую себя настолько вялой, настолько лишенной того щекочущего самолюбия, которое помогает артисту в его игре, что готова была бы заплатить даже за свисток, только бы он разбудил меня. Увы! Я могу дурно спеть начало, могу выдохнуться к концу спектакля – меня неизменно ждут аплодисменты. Они не доставляют мне ни малейшего удовольствия, если я их не заслужила, и причиняют боль, если я случайно заслужила их, – ведь и в этом случае они так же официально

рассчитаны, так же соразмерены с правилами придворного этикета, как обычно, а между тем я чувствую, что имела бы право на большее. Все это может показаться вам ребячеством, благородная Амалия, но вы хотели заглянуть в тайники души актрисы, и я ничего от вас не скрыла.

– Ты рисуешь свои чувства так живо, что я словно сама переживаю все это вместе с тобой. Что ж, я готова услужить тебе и освистать, когда ты будешь чересчур вялой, а потом бросить венок из роз, после того как мне удастся тебя расшевелить.

– Увы, моя добрая принцесса! Король не одобрил бы ни того, ни другого. Королю не угодно, чтобы кто-нибудь обижал его актеров, ибо ему известно, что вслед за шиканьем могут быстро последовать овации. Нет, несмотря на ваши великодушные намерения, скука моя неизлечима. И к этой томительной тоске у меня с каждым днем добавляется сожаление о том, что жизни, полной любви и преданности, я предпочла это ложное и пустое существование. После приключения с Калиостро черная меланхолия заняла еще больше места в моем сердце. Не проходит ночи, чтобы я не увидела во сне Альберта, то разгневанного, то равнодушного и озабоченного, говорящего на непонятном языке, погруженного в размышления, совершенно чуждые нашей любви, – словом, такого, каким он был во время сеанса магии. Просыпаясь в холодном поту, я плачу и думаю, что в том новом существовании, в которое он вступил после смерти, его скорбящая и смятенная душа, быть может, еще страдает от моего пренебрежения и неблагодарности. Так или иначе, но я убила его, это несомненно, и ни один человек, даже если он заключил соглашение со всеми силами неба или преисподней, не властен соединить меня с ним. Я ничего уже не могу исправить в этой жизни, бесполезной и одинокой, и теперь у меня одно желание – чтобы конец наступил как можно скорее.

ГЛАВА 10

– Но разве ты не приобрела здесь новых друзей? – спросила принцесса Амалия. – Неужели среди стольких умных и одаренных людей, которых мой брат собрал у себя со всех концов света – и он очень гордится этим, – нет ни одного, достойного уважения?

– Разумеется, есть, принцесса, и если бы меня не тянуло к уединению, я могла бы найти вблизи себя несколько лиц, которые питают ко мне дружбу. Мадемуазель Кошуа...

– Ты хочешь сказать – маркиза д'Аржанс?

– Я не знала, что она носит это имя.

– Это хорошо – ты не выдаешь чужих тайн. Скажи мне, она воспитанная особа?

– Чрезвычайно. И, в сущности, она очень добра, только немного надменна: из-за ухаживания и уроков господина маркиза она смотрит на своих товарищей актеров несколько свысока.

– Как посрамлена была бы она, если б узнала, кто ты. Имя Рудольштадтов – одно из самых прославленных в Саксонии, тогда как д'Аржансы – всего лишь мелкопоместные дворяне из Прованса или Лангедока. А что собой представляет синьора Коччеи? Ты с ней знакома?

– После замужества мадемуазель Барберини уже не танцует в Опере и большую часть времени проводит за городом, поэтому мне редко удавалось видеться с ней. Я симпатизировала ей больше, чем всем остальным актрисам театра, и оба – и она и ее муж – часто приглашали меня погостить в свои владения. Однако король дал мне понять, что мои поездки туда были бы ему неприятны, и мне пришлось отказаться, даже не зная, чего ради меня лишают этого удовольствия.

– Сейчас узнаешь. Прежде король ухаживал за мадемуазель Барберини, но она предпочла ему сына главного канцлера, и король боится, как бы дурной пример не оказался для тебя заразительным. Ну, а мужчины? Разве ты не подружилась ни с кем из них?

– Я очень расположена к Францу Бенде, первой скрипке оркестра его величества. В наших судьбах есть немало общего. Так же, как я в детстве, он вел в юности цыганскую жизнь, так же, как я, он не слишком ценит блага сего мира и свободу ставит выше богатства. Он часто рассказывал мне, как убежал от роскоши саксонского двора, чтобы разделить бродячее, веселое и нищенское существование странствующих артистов. Светские люди не знают, что на больших дорогах и городских улицах можно встретить настоящих больших музыкантов. Учителем Бенды в его скитаниях был старый еврей по имени Лебедь, и Бенда говорит о нем с восхищением, хоть тот и умер на соломе, а может быть, даже в канаве. До того как Франц Бенда посвятил себя скрипке, у него был великолепный голос, и пение было его профессией. В Дрездене от огорчений и тоски голос у него пропал, но на чистом воздухе скитаний у него появился новый талант, его гений снова расцвел. И вот из этой походной консерватории вышел замечательный виртуоз, которого его величество удостоивает приглашать на свои камерные концерты. Георг Бенда, самый младший его брат, тоже своеобразный и одаренный человек, порой эпикуреец, порой мизантроп. Его причудливый ум не всегда приятен, но всегда интересен. Думаю, что этот не остепенится, как все остальные его братья, которые теперь покорно влачат золотую цепь королевской любви к музыке. Потому ли, что он моложе их, или потому, что его натура неукротима, он не перестает говорить о бегстве. Он скучает здесь так непритворно, что мне доставляет удовольствие скучать вместе с ним.

– А не надеешься ли ты, что эта разделенная скука приведет к более нежному чувству? Любовь не раз рождалась из скуки.

– Нет, – ответила Консуэло, – эта мысль не внушает мне ни надежд, ни опасений, так как я чувствую, что этого никогда не будет. Ведь я уже сказала вам, дорогая Амалия, – со мной происходит нечто странное. С тех пор, как Альберт умер, я люблю его, думаю лишь о нем одном, не могу любить никого другого. Вероятно, впервые любовь родилась из смерти, и тем

не менее со мной случилось именно так. Я безутешна при мысли, что не дала счастья человеку, который был его достоин, и это стойкое раскаяние превратилось у меня в навязчивую идею, в нечто похожее на страсть, быть может – на безумие!

– Да, возможно, – сказала принцесса. – Во всяком случае, это болезнь... А между тем я очень хорошо понимаю такую боль, ибо испытываю ее сама. Ведь я люблю человека, которого здесь нет и которого я, может быть, никогда не увижу. Пожалуй, это то же или почти то же, что любить умершего. Но скажи мне, разве принц Генрих, мой брат, не привлекательный молодой человек?

– Без сомнения.

– Ценитель всего прекрасного, артист душой, герой на войне... Некрасив, но лицо его поражает и привлекает... Ум независимый и гордый. Враг деспотизма, непокоренный раб, несущий угрозу моему другому брату – тирану... Словом, лучший из нашей семьи, это несомненно. Говорят, он в тебя влюблен, – не признавался ли он тебе в этом?

– Я приняла его слова за шутку.

– И не хочешь принять всерьез?

– Нет, принцесса.

– Ты чересчур разборчива, дорогая. Что же ты можешь поставить ему в упрек?

– Один большой недостаток или, во всяком случае, непреодолимое препятствие для моей любви к нему: он принц.

– Благодарю за комплимент, злюка! Так, значит, не он был причиной твоего обморока во время одного из последних спектаклей? Я слышала, что король, недовольный тем, что принц бросал на тебя нежные взгляды, отправил его под арест в самом начале спектакля, и ты заболела от огорчения.

– Я даже не подозревала, что принц был арестован, и убеждена, что это произошло не по моей вине. Нет, причиной моего нездоровья было совсем другое. Вообразите, принцесса, что среди арии, которую я пела несколько машинально, как это часто бывает со мной здесь, взгляд мой случайно упал на ложи первого яруса – те, что близ сцены, и вдруг из глубины ложи господина Головкина показалось бледное лицо человека, который наклонился вперед, рассматривая меня. То было лицо Альберта, принцесса. Клянусь самим Богом, я видела его, я узнала его. Быть может, это была иллюзия, видение, но никакое видение не могло быть более отчетливым, более страшным.

– Бедняжка! Ты подвержена галлюцинациям, в этом нет сомнения.

– О, это еще не все. На прошлой неделе, в тот день, когда я передала вам письмо барона фон Тренка, уходя от вас, я заблудилась во дворце и, встретившись у входа в кабинет редкостей с господином Штоссом, остановилась побеседовать с ним. И вот я снова увидела лицо Альберта, но на этот раз оно было угрожающим, а не равнодушным, как накануне, в театре, и теперь по ночам в моих сновидениях оно все время видится мне то разгневанным, то исполненным презрения.

– А господин Штосс тоже видел его?

– Прекрасно видел и сказал мне, что это некий Трисмегист, с которым ваше высочество охотно беседует о некромантии.

– Праведное небо! – вскричала госпожа фон Клейст, побледнев. – Я так и знала, что он настоящий колдун! Никогда я не могла смотреть на этого человека без страха. Несмотря на красивое лицо и благородный вид, в нем есть что-то сатанинское, и я убеждена, что, подобно Протею, он способен принимать любой облик, чтобы пугать людей. К тому же, как все эти маги, он вечно всех бранит, вечно всем недоволен. Помню, как, составляя мой гороскоп, он отчитал меня за то, что я развелась с господином фон Клейстом после того, как муж разорился, и сказал, что это настоящее преступление. Я собиралась что-то ответить в свое оправдание и, так как он держался со мной несколько высокомерно, начинала уже сердиться, как вдруг он с

горячностью предсказал мне, что я вторично выйду замуж и второй мой муж погибнет по моей вине еще более трагически, чем первый, но что я буду наказана за это угрызениями совести и всеобщим осуждением. При этих словах лицо его стало таким грозным, что мне показалось, будто передо мной воскресший господин Клейст, и я с криком убежала в покои ее высочества.

– Да, это была забавная сцена, – произнесла принцесса сухим и едким тоном, который по временам возвращался к ней как бы помимо ее воли. – Я хохотала как безумная.

– По-моему, тут не над чем было смеяться, – простодушно возразила Консуэло. – Но кто все-таки он такой, этот Трисмегист? Ведь если ваше высочество не верит в магов, то...

– Я обещала, что когда-нибудь расскажу тебе, что такое магия, но не торопи меня. А пока что знай: прорицатель Трисмегист – это человек, к которому я отношусь с большим уважением и который сможет быть полезен нам – всем трем... И не только нам одним!..

– Мне очень хотелось бы увидеть его еще раз, – сказала Консуэло. – Да, хоть при одной мысли об этом меня бросает в дрожь, мне хочется в спокойном состоянии проверить, действительно ли он так похож на графа Рудольштадта, как я вообразила.

– Действительно ли он похож на графа Рудольштадта, говоришь ты... Знаешь, ты напомнила мне об одном обстоятельстве, которое я совсем забыла. И, быть может, оно весьма прозаически разъяснит всю эту великую тайну... Подожди минутку, дай подумать... Да, да! Вспомнила! Слушай, бедняжка моя, и учись относиться с недоверием ко всему, что кажется сверхъестественным. Тот, кого показал тебе Калиостро, был Трисмегист, ибо у Калиостро есть с ним какие-то сношения. Тот, кого ты видела в театре, в ложе графа Головкина, был Трисмегист, ибо Трисмегист живет у него в доме и они вместе занимаются химией или алхимией. И, наконец, тот, кого ты видела во дворце на следующий день, тоже был Трисмегист, ибо вскоре после того, как я простилась с тобой, он приходил ко мне и, между прочим, рассказал мне множество подробностей о побеге Тренка.

– Чтобы похвастаться, будто способствовал его побегу, – добавила госпожа фон Клейст, – и получить с вашего высочества деньги, которых он, конечно, не издержал. Ваше высочество может думать о Трисмегисте что угодно, но я осмелюсь сказать это и ему самому: он авантюрист.

– Что не мешает ему быть великим магом, не так ли, Клейст? Каким же образом в тебе уживается такое глубокое почтение к его искусству и такое презрение к нему самому?

– Ах, принцесса, это вполне понятно. Мы боимся чародеев, но и ненавидим их. Это чувство очень похоже на то, какое мы испытываем по отношению к дьяволу.

– И тем не менее все хотят увидеть дьявола и не могут обойтись без чародеев. Такова твоя логика, моя прекрасная Клейст!

– Но, принцесса, каким же образом вы узнали, что этот человек похож на графа Рудольштадта? – спросила Консуэло, слушавшая этот странный спор с жадным вниманием.

– Совершенно случайно – я и забыла тебе сказать. Сегодня утром, когда Сюпервиль рассказывал мне твою историю и историю графа Альберта, этого странного человека, мне захотелось узнать, был ли он красив и отражалось ли на его наружности его необыкновенное воображение. Сюпервиль задумался, а потом ответил: «Знаете, сударыня, мне нетрудно дать вам о нем правильное представление. Ведь среди ваших „игрушек“ есть один чудак, который необыкновенно походил бы на этого беднягу Рудольштадта, если бы он был более худым, более бледным и причесывался по-другому. Это ваш чародей Трисмегист». Вот где разгадка, моя прелестная вдова, и эта разгадка столь же мало загадочна, как вся их компания – Калиостро, Трисмегист, Сен-Жермен и так далее.

– Вы сняли у меня с сердца огромную тяжесть, – сказала Порпорина, – и сорвали с глаз черную пелену. Мне кажется, что я возрождаюсь к жизни, пробуждаюсь от мучительного сна! Да благословит вас Бог за это объяснение. Значит, я не безумная, значит, у меня нет видений, значит, я больше не буду бояться себя самой!.. И все-таки... Человеческое сердце непости-

жимо... – добавила она после минутного размышления. – Кажется, я уже жалею о своем былом страхе и о своих прежних мыслях. В своем помешательстве я почти убедила себя, что Альберт не умер и что наступит день, когда, заставив меня страшными галлюцинациями искупить зло, которое я ему причинила, он вернется ко мне без чувства обиды или неприязни. Теперь же я твердо уверена в том, что Альберт спит в гробнице своих предков, что он уже не проснется, что смерть не отдаст своей добычи, и эта уверенность ужасна!

– И ты могла в этом сомневаться? Да, в безумии есть доля счастья. А я вот не надеялась, что Тренк выйдет из темниц Силезии, хотя это было возможно, хотя это все-таки случилось.

– Если бы я рассказала вам, прекрасная Амалия о всех тех догадках, какие приходили мне на ум, вы бы увидели, что, несмотря на кажущееся неправдоподобие, они были не так уже невозможны. Взять хотя бы летаргию... У Альберта бывали припадки летаргического сна. Впрочем, я не хочу вспоминать о всех этих безумных догадках. Теперь они мне неприятны – ведь человек, которого я приняла за Альберта, оказался каким-то авантюристом.

– Трисмегист не тот, за кого его принимают... Достоверно одно – это не граф Рудольштадт: я знаю его уже несколько лет, и все это время он, по крайней мере для вида, занимается ремеслом прорицателя. Притом он не так уж похож на графа Рудольштадта, как ты себя в этом убедила. Сюпервиль – а он слишком искусный врач, чтобы хоронить людей, когда они в летаргическом сне, и к тому же не верит в привидения, – итак, Сюпервиль увидел и кое-какие различия, которых ты в своем смятении не смогла заметить.

– Как бы мне хотелось еще раз увидеть этого Трисмегиста, – задумчиво произнесла Консуэло.

– Ты увидишь его не скоро, – холодно ответила принцесса. – Как раз в день вашей встречи во дворце он уехал в Варшаву. Он никогда не проводит в Берлине более трех дней. Но через год он, конечно, вернется.

– А что, если это Альберт!.. – сказала Консуэло, погруженная в глубокое раздумье.

Принцесса пожала плечами.

– Право, – сказала она, – судьба приговорила меня не иметь иных друзей, кроме сумасшедших – как мужчин, так и женщин. Одна принимает моего мага за своего покойного мужа, каноника фон Клейста. Другая – за своего покойного супруга, графа Рудольштадта. К счастью, у меня еще есть голова на плечах, не то я приняла бы его за Тренка, и бог весть, что могло бы из этого выйти. Трисмегист плохой маг, если не воспользовался подобными ошибками! Успокойтесь, Порпорина, не смотрите на меня так испуганно и смущенно, моя красавица. Придите в себя. Помните, ведь если бы граф Альберт не умер, а очнулся от летаргического сна, столь необыкновенное происшествие наделало бы в обществе много шума. К тому же вы, должно быть, сохранили какую-то связь с его семьей, и она, конечно, известила бы вас.

– Нет, я не сохранила с ней никакой связи, – ответила Консуэло. – Канонисса Венцеслава дважды написала мне за этот год и сообщила о двух печальных событиях: о смерти графа Христиана – ее старшего брата и отца моего мужа, который так и умер в беспмятстве и до последнего дня своей долгой, полной страданий жизни не осознал постигшего его несчастья, и о смерти барона Фридриха, брата Христиана и канониссы, который погиб на охоте, свалившись в овраг с роковой горы Шрекенштейн. Разумеется, я сочла своим долгом ответить на письмо канониссы, но не решилась просить у нее позволения приехать и разделить с ней ее печаль. Судя по письмам, в сердце ее боролись два чувства – доброта и высокомерие. Она называла меня своей дорогой дочерью, своим великодушным другом, но, по-видимому, вовсе не нуждалась ни в моих заботах, ни в моем сочувствии.

– Так ты думаешь, что оживший Альберт спокойно и безвестно живет в замке Исполинов, не написав тебе об этом, втайне от всех, находящихся за пределами замка?

– Нет, принцесса, я этого не думаю, потому что это было бы совсем уж невероятно, и я просто сошла с ума, если еще в чем-то сомневаюсь, – ответила Консуэло, закрывая руками лицо, залитое слезами.

По мере того, как текли ночные часы, дурной характер принцессы начинал вступать в свои права. Ее насмешливый и беспечный тон при упоминании о событиях, столь близких сердцу Консуэло, жестоко ранил молодую девушку.

– Довольно, перестань сокрушаться, – резко сказала Амалия. – Нечего сказать, веселый получился вечер! Ты наговорила таких вещей, что сбежал бы сам дьявол. Фон Клейст все время дрожала и бледнела; кажется, она готова умереть со страху. Мне так хотелось быть счастливой, веселой, а вместо этого я сама страдаю, глядя на твои страдания, бедное мое дитя!

Последние слова принцессы произнесла уже другим тоном, и, подняв голову, Консуэло увидела слезы сострадания, катившиеся по ее щеке, хотя губы все еще кривила ироническая усмешка. Консуэло поцеловала протянутую ей руку и мысленно пожалела аббатису за то, что она не может быть доброй четыре часа кряду.

– Как ни глубока таинственность, окружающая твой замок Исполинов, – добавила принцесса, – как ни велика гордыня канониссы и скрытность ее слуг, уверяю тебя, – все, что там происходит, так же быстро становится достоянием гласности, как и в любом другом месте. Тщетно пытались родные скрыть странности графа Альберта, – вскоре о них узнал весь край, и еще до того, как к твоему несчастному супругу пригласили доктора Сюпервиля, о них заговорили придворные Байрейтского двора. Теперь в этой семье есть другая тайна, которую, без сомнения, скрывают с не меньшим старанием и тоже не смогли уберечь от людского злословия. Я говорю о побеге молодой баронессы Амалии – она сбежала с красивым искателем приключений вскоре после смерти своего кузена.

– А я довольно долго не знала об этом. И могу сказать, что не все становится известным на этом свете: ведь до сих пор неизвестно ни имя, ни звание человека, похитившего молодую баронессу, как неизвестно и место, где они скрываются.

– Да, правда, Сюпервиль тоже говорил об этом. Поистине, старая Чехия – страна таинственных приключений. Однако это еще не значит, что граф Альберт...

– Во имя неба, принцесса, не будем больше говорить об этом. Простите, что я утомила вас своей длинной историей, и, когда ваше высочество прикажет мне удалиться, я...

– Два часа ночи! – воскликнула госпожа фон Клейст, вздрагивая при мрачном звуке башенных часов замка.

– Если так, дорогие подруги, нам надо расстаться, – сказала принцесса, вставая. – Моя сестра фон Анспах придет будить меня в семь часов, чтобы поделиться слухами о любовных похождениях своего дорогого маркграфа, который недавно вернулся из Парижа, безумно влюбленный в мадемуазель Клерон. Прекрасная Порпорина, это вы, королевы сцены, в действительности являетесь королевами мира, как мы являемся ими по праву, и, поверьте, ваша участь завиднее. Нет такого монарха, которого вы не можете у нас отнять, если вам придет подобная фантазия, и я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день умная мадемуазель Ипполита Клерон сделается маркграфиней фон Анспах, заменив мою глупую сестру. Дай мне шубу, фон Клейст, я хочу проводить вас до конца галереи.

– И потом принцесса вернется одна? – с испугом спросила госпожа фон Клейст.

– Да, одна, – ответила Амалия, – и притом без малейшего страха перед дьяволом и его приспешниками, хотя, по слухам, они уже несколько ночей в полном составе собираются у нас во дворце. Пойдем, Консуэло, пойдем! Полюбуйтесь, как будет дрожать фон Клейст, проходя через галерею.

Принцесса взяла свечу и вышла первая, увлекая за собой взволнованную госпожу фон Клейст. Консуэло шла за ними, тоже немного встревоженная, сама не зная почему.

– Уверяю вас, принцесса, – говорила госпожа фон Клейст, – что страшно неосторожно проходить сейчас через эту часть замка. Что вам стоит оставить нас у себя еще на полчаса? В половине третьего все привидения уже исчезают.

– Нет, нет, – возразила Амалия, – я не прочь встретиться с ней и взглянуть, что она собой представляет.

– О ком вы говорите? – спросила Консуэло, догоняя госпожу фон Клейст.

– Ты не знаешь? – удивилась принцесса. – Вот уже несколько ночей, как белая женщина, та, что обычно подметает лестницы и коридоры дворца перед тем, как один из членов королевской фамилии должен умереть, появилась опять. И, по слухам, она начала свои забавы именно здесь, возле моих комнат. Значит, под угрозой именно моя жизнь. Вот почему я так спокойна. Моя невестка, королева прусская (самая безмозглая голова, когда-либо носившая корону) не может, говорят, уснуть от страха и каждый вечер уезжает ночевать в Шарлоттенбург, но так как и она, и королева, моя мать, которая в этих делах ничуть не умнее ее, питают к Женщине с метлой бесконечное почтение, обе дамы запретили выслеживать призрак и нарушать его благородные занятия. Поэтому дворец усиленно подметает сам Люцифер, что, как видишь, не мешает полу быть довольно грязным.

В эту минуту большущий кот, выскочивший откуда-то из темноты галереи, с громким мяуканьем промчался мимо госпожи фон Клейст. Та испустила пронзительный крик и хотела было бежать обратно, в сторону покоев принцессы, но Амалия силой удержала ее, огласив пустоту коридоров раскатами хриплого язвительного хохота, еще более зловещего, чем северный ветер, свистевший в обширном пустом здании. Консуэло дрожала от холода, а может быть, и от страха, так как искаженное лицо госпожи фон Клейст говорило, казалось, о реальной опасности, а деланная и вызывающая веселость принцессы отнюдь не убеждала в искренности ее спокойствия.

– Я восхищаюсь упорным неверием вашего королевского высочества, – с досадой сказала госпожа фон Клейст прерывающимся от волнения голосом, – но если бы вы видели и слышали, как я, эту белую женщину накануне смерти короля, вашего августейшего отца...

– К несчастью, я убеждена, – язвительным тоном прервала ее Амалия, – что на этот раз она пришла не затем, чтобы возвестить смерть короля, моего августейшего брата, и, стало быть, она пришла за мной, чему я очень рада. Чертовка отлично знает, что для моего счастья необходима либо одна, либо другая из этих двух смертей.

– Ах, принцесса, не говорите так в подобную минуту! – с трудом выговорила госпожа фон Клейст, у которой стучали зубы. – Умоляю, остановитесь и прислушайтесь – разве сейчас можно оставаться спокойной?

Принцесса остановилась с насмешливым видом, но когда шум ее плотного и жесткого, словно картон, шелкового платья перестал заглушать более отдаленные звуки, наши три героини, стоявшие в конце коридора, уже почти у самой лестничной площадки, явственно различили сухой стук метлы, которая неравномерно ударяла по каменным ступенькам и, казалось, быстро приближалась к ним, поднимаясь все выше, словно кто-то из слуг спешил закончить свою работу.

Принцесса секунду колебалась, потом решительно сказала:

– Так как на этом свете ничего сверхъестественного нет, я хочу узнать, кто там – лунатик-лакей или проказливый паж. Опустив вуаль, Порпорина, не надо, чтобы нас видели вместе. Ну, а ты, фон Клейст, можешь падать в обморок, если тебе угодно. Предупреждаю, что не буду с тобой возиться. Идем, храбрая Рудольштадт, тебе случалось без страха встречать и более страшные приключения. Если любишь меня, следуй за мной.

Амалия твердым шагом направилась к началу лестницы. Консуэло, которой принцесса не позволила нести свечу, пошла за ней, а госпожа фон Клейст – ей было одинаково страшно и оставаться одной и двигаться вперед – поплелась сзади, цепляясь за накидку Порпорины.

Адская метла умолкла, и принцесса, дойдя до перил, остановилась, вытянув руку со свечой, чтобы осветить себе путь. Однако потому ли, что спокойствие ее было наигранным, или потому, что она увидела нечто страшное, рука ее дрогнула, и позолоченный подсвечник с хрустальным узорчатым ободком с треском упал вместе со свечой в глубокий и гулкий лестничный пролет. Тут госпожа фон Клейст, совсем потеряв голову и забыв не только об актрисе, но и о принцессе, пустилась бежать обратно по галерее и бежала до тех пор, пока не наткнулась в темноте на дверь в покои своей повелительницы, где и нашла убежище. А принцесса, не в силах побороть волнение и вместе с тем стыдясь признаться себе, что сдала позиции, направилась вместе с Консуэло той же дорогой, вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее, ибо чьи-то другие шаги слышались за ее спиной, и это не были шаги Порпорины – певица шла с ней рядом и, пожалуй, еще более решительно, хотя и без малейшей рисовки. Эти странные шаги громко отдавались в темноте на каменных плитах и словно догоняли их с каждой секундой, напоминая шаркающие шаги старухи, обутой в ночные туфли: метла же делала свое дело, стучаясь о стены – то справа, то слева. Этот короткий путь показался Консуэло бесконечно длинным. Людей здравомыслящих и истинно бесстрашных может победить только такая опасность, которую нельзя ни предвидеть, ни понять. Не претендуя на бесполезную отвагу, Консуэло ни разу не обернулась. Принцесса же утверждала потом, будто она сама неоднократно обращивалась, но так ничего и не увидела в кромешном мраке, и впоследствии никто не мог ни опровергнуть, ни подтвердить ее слова. Консуэло помнила только, что во время этого вынужденного отступления Амалия ни разу не замедлила шаг, не обратилась к ней ни с единым словом и что, поспешно войдя к себе, она едва не захлопнула дверь перед самым носом у своей гостыи. Однако же принцесса не призналась в своей слабости и, быстро обретя хладнокровие, начала высмеивать госпожу фон Клейст, совсем больную от перенесенного волнения, и горько упрекать ее в трусости и невнимании к своей особе. Сострадательная Консуэло, которой жалко было смотреть на тяжелое состояние госпожи фон Клейст, постаралась смягчить принцессу, и та удостоила заметить, что ее любимица Клейст все равно ничего не слышит, ибо в полной прострации лежит на кушетке, зарывшись лицом в подушки. На часах пробило три, когда бедняжка пришла в себя, но пережитый ужас все еще заставлял ее проливать слезы. Принцессе уже прискучила роль простой смертной, и ей вовсе не улыбалась мысль самой раздеваться и самой прислуживать себе. А кроме того, в душе ее затаилось, как видно, какое-то зловещее предчувствие. Так или иначе, она решила оставить у себя госпожу фон Клейст до утра.

– Мы успеем еще, – сказала она, – выдумать какой-нибудь предлог, чтобы приукрасить эту историю, в случае если она станет известна брату. Но объяснить твое присутствие здесь, Порпорина, было бы гораздо труднее, и я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел, как ты выходишь отсюда. Стало быть, тебе надо уходить одной, и как можно скорее, – ведь в этой гнусной гостиной встают необыкновенно рано. Послушай, Клейст, успокойся, я оставляю тебя здесь до утра, и если ты в состоянии произнести хоть одно разумное слово, объясни, какой дорогой ты сюда пришла и где тебя ждет твой провожатый, чтобы Порпорина могла воспользоваться его услугами, когда пойдет домой.

Страх делает человека столь эгоистичным, что госпожа фон Клейст, радуясь, что ей уже не угрожают ужасы галереи и мало заботясь о том, что певице, быть может, будет страшно идти одной, сразу обрела сообразительность и объяснила, какой дорогой ей надлежит идти и какой условный знак следует подать доверенному слуге, которому приказано ждать у выхода из дворца в некоем укромном и пустынном уголке.

Вооруженная этими сведениями и уверенная, что на сей раз она уже не заблудится во дворце, Консуэло простилась с принцессой, которая не выразила ни малейшего желания проводить ее по галерее. Итак, молодая девушка вышла одна и ошупью, но беспрепятственно добралась до страшной лестницы. Висевший внизу фонарь облегчил ей путь, и она спустилась без всяких приключений и даже без особого страха. На этот раз она взяла себя в руки, так как

чувствовала, что выполняет свой долг по отношению к несчастной Амалии, а в подобных случаях она всегда бывала мужественна и сильна. Наконец через маленькую потайную дверь – ключ от нее ей дала госпожа фон Клейст – она вышла из дворца и оказалась в углу заднего двора. Пройдя двор, она пошла вдоль наружной стены, отыскивая слугу госпожи фон Клейст. Не успела она шепотом произнести условленную фразу, как от стены отделился темный силуэт, и мужчина, закутанный в широкий плащ, с почтительным поклоном молча подал ей руку.

ГЛАВА 11

Консуэло вспомнила, что госпожа фон Клейст, желая скрыть свои частые и тайные визиты к принцессе Амалии, не раз приходила по вечерам в замок, пряча голову под плотным черным чепцом, кутаясь в темную накидку и опираясь на руку слуги. В таком виде она не бросалась в глаза прислуге замка и могла сойти за одну из тех бедных женщин, которые украдкой пробираются во дворец и получают кое-что от щедрот королевской семьи. Однако, несмотря на все предосторожности наперсницы и ее госпожи, секрет их был отчасти секретом полишинеля, и если король молчал, то единственно потому, что есть такие мелкие скандальные истории, которые лучше терпеть, не поднимая шума, чем бороться с ними. Он прекрасно знал, что обе дамы больше заняты Тренком, нежели магией; почти одинаково осуждая и то и другое, он закрывал на это глаза и в глубине души был признателен Амалии за то, что она окутывает свой роман ореолом тайны и таким образом освобождает его от ответственности. Он предпочитал казаться одураченным, только бы люди не думали, что он поощряет любовь и безумие своей сестры. Вся тяжесть жестокого нрава короля обрушилась, таким образом, на несчастного Тренка, и пришлось обвинить его в мнимых преступлениях, чтобы никто не догадался об истинных причинах опалы.

Думая, что слуга госпожи фон Клейст желает помочь ей сохранить инкогнито, а потому протягивает руку, принимая ее за свою госпожу, Порпорина не колеблясь оперлась на нее, ступая по скользкой от льда мостовой. Но не успела она сделать и трех шагов, как этот человек сказал ей развязным тоном:

– Ну что, прекрасная графиня, в каком расположении духа оставили вы сумасбродную Амалию?

Несмотря на холод и ветер, Консуэло почувствовала, как вся кровь прихлынула к ее лицу. Очевидно, слуга принял ее за госпожу фон Клейст и таким образом выдал возмутительную близость с ней. Порпорина брезгливо вырвала у него руку и сухо произнесла:

– Вы ошиблись.

– Я не имею обыкновения ошибаться, – возразил человек в плаще столь же непринужденно. – Публика может не знать, что божественная Порпорина является графиней Рудольштадт, но граф де Сен-Жермен осведомлен лучше.

– Кто же вы? – спросила Консуэло вне себя от изумления. – Разве вы не принадлежите к числу слуг госпожи фон Клейст?

– Я принадлежу только самому себе и служу только истине, – ответил незнакомец. – Я назвал свое имя, но, видимо, графине Рудольштадт оно незнакомо.

– Так, стало быть, вы граф де Сен-Жермен?

– А кто еще мог бы назвать вас именем, которого никто не знает? Послушайте, графиня, вот уже дважды вы чуть не упали, сделав два шага без моей помощи. Благоволите снова опереться на мою руку. Я прекрасно знаю, где вы живете, и считаю своим почетным долгом довести вас до дому целой и невредимой.

– Вы очень любезны, граф, – ответила Консуэло, чье любопытство было чересчур возбуждено, чтобы она могла отказаться от предложения этого удивительного, необыкновенного человека, – но, может быть, вы окажете мне и другую любезность – скажете, почему вы назвали меня так?

– Потому что хотел сразу добиться вашего доверия и доказать, что я достоин его. Я давно знаю о вашем браке с Альбертом и все время свято хранил вашу общую тайну, как буду хранить ее и впредь, пока на то будет ваша воля.

– Зато господин Сюпервиль, как видно, совсем не посчитался с моей волей, – сказала Консуэло, которой не терпелось удостовериться в том, что граф де Сен-Жермен получил эти сведения именно от него.

– Не обвиняйте бедного Сюпервиля, – возразил граф. – Он рассказал это только принцессе Амалии, желая сделать ей приятное. Я узнал обо всем не от него.

– В таком случае от кого же?

– От самого графа Альберта Рудольштадта. Да, да, я знаю, сейчас вы скажете, что он умер под конец соединившей вас с ним брачной церемонии, но я отвечу, что смерти нет, что никто не умирает и что можно разговаривать с теми, кого люди называют усопшими, если понимать их язык и знать тайны их жизни.

– Если вы так много знаете, граф, то, вероятно, вам известно, что меня нелегко убедить такими утверждениями и что они причиняют мне много горя, беспрестанно напоминая о несчастье, которое я считаю непоправимым, несмотря на лживые обещания магии.

– Вы правы, что остерегаетесь чародеев и шарлатанов. Мне известно, что Калиостро напугал вас, явив вам призрак, что было по меньшей мере несвоевременно. Желая доказать вам свое могущество, он уступил чувству мелкого тщеславия, не подумав при этом о состоянии вашей души и о величии собственной миссии. И все же Калиостро не шарлатан, отнюдь нет! Просто он слишком честолюбив, и это нередко давало повод упрекнуть его в шарлатанстве.

– Вас, граф, упрекают в том же, но так как при этом обычно добавляют, что вы человек выдающийся, я осмеливаюсь признаться, что питаю к вам предубеждение и оно мешает мне уважать вас.

– Эта благородная прямота вполне в духе Консуэло, – спокойно ответил господин де Сен-Жермен, – и я благодарю вас за призыв к моей чести. Я откликнусь на него и буду говорить с вами откровенно. Но мы уже у ваших дверей, холод и поздний час не позволяют мне задерживать вас долее. Если вам угодно узнать нечто чрезвычайно важное, от чего зависит ваше будущее, позвольте мне поговорить с вами на свободе.

– Если господину графу угодно будет навестить меня завтра в течение дня, я буду ждать его в удобное для него время.

– Да, мне необходимо говорить с вами завтра. Но завтра к вам явится с визитом Фридрих, а я не желаю с ним встречаться, потому что мало к нему расположен.

– Позвольте, граф, о каком Фридрихе вы говорите?

– О, разумеется, не о нашем друге Фридрихе фон Тренке, которого нам удалось вырвать из рук короля. Речь идет о том ничтожном и злобном короле Пруссии, который волочится за вами. Вот что: завтра вечером в Опере состоится большой публичный бал. Будьте там. Можете переодеться в любой костюм, я все равно узнаю вас и помогу узнать себя. В этой толпе мы найдем и уединение, и безопасность. Иначе наши встречи могут навлечь большие несчастья на головы дорогих нам людей. Итак, до завтра, графиня!

С этими словами граф де Сен-Жермен низко поклонился Порпорине и исчез, оставив девушку окаменевшей от изумления на пороге ее жилища.

«Положительно, в этом царстве разума ни на минуту не прекращается заговор против разума, – думала певица перед тем, как уснуть. – Не успела я избежать одной опасности, угрожавшей моему собственному рассудку, как сразу появилась другая. Принцесса Амалия объяснила мне таинственные явления последних дней, и я уже было успокоилась, как вдруг, почти тотчас же, мы встречаем фантастическую Женщину с метлой или, во всяком случае, слышим ее шаги, и она разгуливает в этом дворце сомнения, в этой цитадели неверия так же спокойно, как это могло бы случиться двести лет назад. Едва я избавилась от страха, мучившего меня после встречи с Калиостро, как появляется другой маг, который, по-видимому, еще лучше осведомлен о моих делах. Когда все эти маги и волшебники следят за событиями жизни королей и других могущественных или знаменитых людей, – это еще понятно, но почему мне, бедной

девушке, неприязательной и скромной, не удастся утаить от их бдительного ока ни одного обстоятельства моей собственной жизни, – вот что невольно смущает меня и тревожит. Впрочем, послушаюсь совета принцессы. Хочу надеяться, что будущее разъяснит и эту загадку, а пока что воздержусь от всякого суждения. Пожалуй, больше всего я удивлюсь, если визит короля, предсказанный Сен-Жерменом, действительно состоится завтра. Это будет лишь третий королевский визит. Уж не является ли этот Сен-Жермен его наперсником? Говорят, что надо опасаться тех людей, которые дурно отзываются о своем господине. Постараюсь этого не забывать».

На следующий день, ровно в час, во двор домика, где жила певица, въехала карета без ливрейного лакея и герба, и король, за два часа до того приславший предупредить Порпорину, чтобы она ждала его одна, вошел к ней в шляпе, сдвинутой на левое ухо, с улыбкой на губах и с маленькой корзинкой в руке.

– Капитан Крейц принес вам фруктов из своего сада, – сказал он. Злые языки уверяют, будто они сорваны в садах Сан-Суси и предназначались на десерт королю. Но король, благодарение Богу, забыл о нас, и скромный барон пришел провести часок-другой со своей скромной подружкой.

Вместо того, чтобы развеселить Консуэло, это милое вступление сильно встревожило ее. С тех пор как она тайно нарушала королевскую волю, выслушивая откровенные признания принцессы Амалии, певица уже не могла с прежней смелой прямоотой беседовать с инквизитором – королем. Отныне следовало обходиться с ним осторожно, быть может, льстить ему, стараться с помощью искусного кокетства отвращать его подозрения. Консуэло чувствовала, что эта роль не по ней, что она сыграет ее плохо, особенно в том случае, если Фридрих действительно питал к ней склонность, как утверждали при дворе, где слово любовь применительно к какой-то актрисе сочли бы унижительным для королевского достоинства. Взволнованная и смущенная, Консуэло неловко поблагодарила короля за его чрезмерное внимание, после чего выражение его лица внезапно изменилось и сделалось столь же мрачным, сколь лучезарным оно было секунду назад.

– Что это значит? – резко спросил он, хмуря брови. – Вы не в духе? Или нездоровы? Почему вы назвали меня «государь»? Быть может, мой визит помешал любовному свиданию?

– Нет, государь, – ответила молодая девушка, вновь обретая спокойствие искренности, – у меня нет ни свиданий, ни любви.

– Прекрасно! Впрочем, если бы даже и так – какое мне дело! Я потребовал бы от вас лишь одного – чтобы вы сознались мне в этом.

– Созналась? Очевидно, господин капитан хотел сказать – чтобы я доверилась ему?

– Объясните, в чем тут различие.

– Думаю, что вы, господин капитан, и сами знаете, в чем.

– Допустим. Но знать – еще не значит получить ответ. Если вы влюбитесь, я бы хотел узнать об этом.

– Не понимаю, зачем?

– В самом деле, не понимаете? Посмотрите мне в глаза. У вас сегодня какой-то рассеянный взгляд.

– Господин капитан, вы, кажется, подражаете королю. Говорят, что при допросе обвиняемого он пристально смотрит ему в глаза. Поверьте, такие приемы дозволены ему одному. Впрочем, если бы он пришел с тем же ко мне, я бы попросила его вернуться к своим делам.

– Вот как! Вы бы сказали ему: «Идите прочь, государь»?

– А почему бы и нет? Место короля на коне или на троне, а если бы ему вздумалось навестить меня, я была бы вправе отказать терпеть его дурное настроение.

– Согласен. Но вы так и не ответили мне. Вы не хотите избрать меня поверенным ваших будущих любовных приключений?

- У меня не может быть любовных приключений, барон, я уже не раз повторяла вам это.
- Да, в шутку, потому что я и спрашивал вас в шутку. Ну, а если сейчас я говорю серьезно?
- Я отвечу то же самое.
- Знаете, вы странная особа.
- Но почему же?
- Потому что вы единственная актриса, которая не занимается ни любовью, ни флиртом.
- Вы дурного мнения об актрисах, капитан.
- Нет! Я знал и добродетельных актрис, но все они стремились к выгодному замужеству, а вы... уж и не знаю, о чем думаете вы.
- Я думаю о том, что вечером мне предстоит петь.
- Так вы живете сегодняшним днем?
- Да, теперь я живу так, а не иначе.
- Значит, не всегда было так?
- Нет, капитан.
- Вы любили?
- Да, капитан.
- Seriously?
- Да.
- И долго?
- Да.
- А что случилось с вашим возлюбленным?
- Он умер!
- Но вы не утешились?
- Нет.
- О, вы еще утешитесь.
- Боюсь, что нет.
- Странно. Так вы не думаете выходить замуж?
- Никогда.
- И никогда никого не полюбите?
- Никогда.
- И даже не заведете себе друга?
- Даже друга – в том значении, какое придают этому слову прекрасные дамы.
- Полноте! Если вы поедете в Париж и король Людовик Пятнадцатый, этот галантный кавалер...
- Я не люблю королей, капитан, и особенно не терплю королей галантных.
- Ага, понимаю, вы предпочитаете пажей. Например, такого красивого кавалера, как Тренк!
- Я никогда не обращала внимания на его наружность.
- И тем не менее сохранили с ним какие-то отношения!
- Будь это так, наши отношения носили бы характер чистой и незапятнанной дружбы.
- Значит, вы признаетесь, что эти отношения существуют?
- Этого я не сказала, – ответила Консуэло, испугавшись, что может выдать принцессу.
- Так вы отрицаете это?
- Если бы эти отношения существовали, у меня бы не было причин отрицать их. Но почему капитан Крейц расспрашивает меня так упорно? Неужели это может его заинтересовать?
- Очевидно, это интересует короля, – ответил Фридрих, снимая шляпу и резким движением нахлобучивая ее на белую мраморную голову Полигимнии, чей античный бюст украшал одну из консолей.

– Если бы меня удостоил посещением король, – сказала Консуэло, преодолевая овладевший ею страх, – я бы решила, что ему угодно послушать музыку, и села бы за клавесин, чтобы спеть ему арию из «Покинутой Ариадны»...

– Король не любит, когда превосхищают его желания. Он желает, чтобы ему отвечали на вопрос определенно и ясно. Что вы делали сегодня ночью в королевском дворце? Видите ли, раз вы ходите к нему во дворец в неурочное время и без его позволения, значит, и он вправе вести себя у вас в доме как хозяин.

Консуэло затрепетала, но, к счастью, присутствие духа всегда словно чудом спасало ее от многих опасностей. Она вспомнила, что Фридриху нередко случалось прибегать ко лжи, чтобы выведать правду, и что его излюбленным средством вырвать у человека признание было напасть на него врасплох. Она овладела собой и, побледнев, но все-таки улыбаясь, сказала:

– Какое странное обвинение! Не знаю право, что и отвечать на столь экстравагантные вопросы.

– Вы стали разговорчивее, – заметил король. – Совершенно ясно, что вы лжете. Были вы этой ночью во дворце? Отвечайте – да или нет?

– В таком случае – нет! – смело сказала Консуэло, предпочитая быть с позором уличенной во лжи, нежели сделать подлость и выдать чужую тайну, лишь бы оправдаться самой.

– Вы не выходили из дворца в три часа ночи, одна, без провожатых?

– Нет, – ответила Консуэло, которая немного приободрилась, заметив в выражении лица короля едва уловимый оттенок неуверенности, и теперь превосходно разыгрывала удивление.

– Вы осмелились трижды произнести слово нет, – гневно вскричал король, испепеляя девушку взглядом.

– Я осмелюсь произнести это слово и в четвертый раз, если того потребует ваше величество, – ответила Консуэло, решаясь противостоять грозе до конца.

– О, я знаю, женщина способна защищать свою ложь даже под пыткой, как первые христиане защищали то, что они считали правдой. Кто может похвастаться тем, что вырвал искренний ответ у женщины? Послушайте, мадемуазель, до сих пор я питал к вам уважение, ибо полагал, что вы являетесь единственным исключением среди обладательниц пороков вашего пола. Я не считал вас способной ни к интригам, ни к вероломству, ни к наглости. Мое доверие к вам простиралось до дружбы...

– А теперь, ваше величество...

– Не перебивайте меня. Теперь я держусь другого мнения, и скоро вы почувствуете его последствия. Слушайте меня внимательно. Если вы имели несчастье вмешаться в мелкие дворцовые интриги, выслушать чьи-то неуместные излияния, оказать кому-то опасные услуги, не обольщайтесь – вам недолго удастся обманывать меня, и я прогоню вас отсюда, причем позор вашего изгнания будет столь же велик, сколь велики были благожелательность и уважение, с какими я вас встретил.

– Государь, – бесстрашно ответила Консуэло, – так как самое заветное и самое неизменное мое желание – это желание покинуть Пруссию, я с благодарностью приму приказ о моем выезде, как бы унизителен ни был предлог моего удаления и как бы сурово вы со мной ни говорили.

– Ах, так! – вскричал Фридрих вне себя от ярости. – Вы осмеливаетесь разговаривать со мной в подобном тоне!

При этом он поднял трость, словно собираясь ударить Консуэло, но спокойный и презрительный вид, с каким она ждала этого оскорбления, отрезвил его, и, далеко отбросив трость, он взволнованно проговорил:

– Забудьте, что вы имеете право на благодарность капитана Крейца, и обращайтесь к королю с подобающим уважением, не то я могу выйти из себя и наказать вас, как упрямого ребенка.

– Государь, мне известно, что в вашей августейшей семье бьют детей, и я слышала, что ваше величество, стремясь избавиться от такого обращения, когда-то сами пробовали бежать. Мне, цыганке, будет легче совершить побег, чем кронпринцу Фридриху. Если король в течение двадцати четырех часов не удалит меня из своего государства, я сама постараюсь успокоить его относительно моих интриг и покину Пруссию без всяких бумаг, хотя бы мне пришлось идти пешком и перебираться через рвы, подобно дезертирам и контрабандистам.

– Вы сумасшедшая! – пожимая плечами, сказал король, расхаживая по комнате, чтобы скрыть досаду и раскаяние. – Да, вы уедете, таково и мое желание, но уедете не торопясь, без скандала. Я не хочу, чтобы вы расстались со мной, сердясь и на меня и на самое себя. Где, черт возьми, вы набрались этой невероятной дерзости? И какого черта я так снисходителен к вам?

– Думаю, что причина этой снисходительности в той крупнице великодушия, от которой король вполне может себя избавиться. Он думает, что обязан мне чем-то за услугу, которую я с такой же готовностью оказала бы самому ничтожному из его подданных. Пусть же он считает, что расквитался со мной тысячу раз, и поскорее отпустит меня – свобода будет вполне достаточной наградой. Никакой другой мне не надо.

– Опять? – сказал король, пораженный дерзким упрямством молодой девушки. – Все те же речи? Так вы не скажете мне ничего другого? Нет, это уже не смелость, это ненависть!

– А если бы и так? – спросила Консуэло. – Разве вашему величеству это не безразлично?

– Праведное небо! Что такое вы говорите, глупенькая девочка! – воскликнул король с простодушным выражением искренней боли. – Вы сами не понимаете, что сказали. Только извращенная душа может быть нечувствительна к ненависти себе подобных.

– А разве Фридрих Великий считает Порпорину существом себе равным?

– Только ум и добродетель возвышают отдельных людей над остальными. В области своего искусства вы гениальны. Совесть должна подсказать вам, верны ли вы своему долгу... Но в эту минуту она говорит вам совсем другое, ибо в душе у вас горечь и вражда.

– Допустим, но разве великому Фридриху не в чем упрекнуть свою совесть? Не он ли разжег эти дурные страсти в душе, привыкшей к чувствам мирным и добрым?

– Вы сердитесь? – спросил Фридрих, пытаясь взять молодую девушку за руку. Но тут же в смущении остановился: закоренелое презрение и антипатия к женщинам сделали его застенчивым и неловким.

Консуэло намеренно подчеркнула свою досаду, чтобы заглушить в сердце короля нежность, готовую погасить вспышку гнева, но когда она заметила, как он робок, страх ее сразу исчез, так как она поняла, что первого шага он ждет с ее стороны. Странная прихоть судьбы! Единственная женщина, которая могла вызвать у Фридриха чувство, похожее на любовь, была, быть может, единственной в его королевстве, которая ни за что в жизни не согласилась бы поощрить в нем эту склонность. Правда, недоступность и гордость Консуэло были, пожалуй, в глазах короля главным ее очарованием. Завоевание этой непокорной души привлекало деспота, словно завоевание какой-нибудь провинции, и, сам не отдавая себе в этом отчета, отнюдь не стремясь прослыть героем любовных походов, он испытывал невольное восхищение и сочувствие к этому сильному характеру, в какой-то мере родственному его собственному.

– Вот что, – сказал он, быстро пряча в карман жилета руку, которую протянул было к Консуэло, – никогда больше не говорите мне, что я равнодушен к ненависти окружающих, не то я буду думать, что меня ненавидят, а эта мысль мне невыносима.

– Но ведь вы хотите, чтобы вас боялись.

– Нет, я хочу, чтобы меня уважали.

– И ваши капралы внушают солдатам уважение к вашему имени с помощью палочных ударов.

– Что можете вы знать об этом? О чем вы говорите? Во что вмешиваетесь?

– Я отвечаю на вопросы вашего величества определенно и ясно.

– Вам угодно, чтобы я попросил у вас прощения за вспышку, вызванную вашим безрас-
судством?

– Напротив. Если бы вы могли разбить о мою голову ту палку-скипетр, который управ-
ляет Пруссией, я стала бы просить ваше величество поднять эту трость.

– Полноте! Ведь эту трость мне подарил Вольтер, и если бы я прошелся ею по вашим
плечам, у вас только прибавилось бы хитрости и ума. Послушайте, я очень дорожу этой тро-
стью, но вижу, что вам нужно какое-то удовлетворение. Итак...

Король поднял трость и хотел было ее сломать. Однако, как он ни старался сделать это,
даже помогая себе коленом, бамбук гнулся, но не ломался.

– Вот видите, – сказал король, бросая трость в камин, – вы ошиблись: моя трость не
является символом моего скипетра. Это символ верной Пруссии. Она сгибается под давлением
моей воли, но не будет сломлена ею. Поступайте так же, Порпорина, и вам будет хорошо.

– Какова же воля вашего величества по отношению ко мне? Стоит ли такой сильной
личности повелевать и нарушать ясность своего духа ради столь незначительной особы?

– Моя воля – чтобы вы отказались от мысли уехать из Берлина. Вам это неприятно?

Быстрый и почти страстный взгляд Фридриха достаточно убедительно пояснил, что он
имел в виду, говоря о так называемом удовлетворении. Консуэло почувствовала, что ее страхи
вернулись, и сделала вид, что не поняла его.

– На это я никогда не соглашусь, – ответила она. – Мне слишком ясно теперь, как дорого
пришлось бы платить за честь изредка развлекать своими руладами ваше величество. Здесь
подозревают всех. Самые незаметные, самые незначительные люди не защищены от клеветы,
и для меня такая жизнь невыносима.

– Вы недовольны своим жалованьем? – спросил король, – Оно будет увеличено.

– Нет, государь. Я вполне удовлетворена им – я не корыстолюбива, и ваше величество
знает это.

– Вы правы. Надо отдать вам справедливость, вы не любите деньги. Впрочем, неизвестно,
что вы любите?

– Свободу, государь.

– А кто стесняет вашу свободу? Вы просто хотите поссориться со мной и не можете найти
подходящий предлог. Вы хотите уехать – это мне ясно.

– Да, государь.

– Да? Это решено твердо?

– Да, государь.

– Если так, убирайтесь к дьяволу!

Король схватил шляпу, поднял трость, которая так и не сторела, откатившись за решетку,
и, повернувшись спиной, направился к двери. Но, перед тем, как ее открыть, он обернулся, и
Консуэло увидела его лицо, такое непритворно грустное, такое по-отечески огорченное, сло-
вом, такое непохожее на обычную страшную маску короля с его горькой, скептически-фило-
софской усмешкой, что бедная девушка почувствовала раскаяние и волнение. Привычка к бур-
ным сценам, усвоенная ею в те времена, когда она еще жила в доме Порпоры, заставила ее
забыть, что в сердце Фридриха было по отношению к ней нечто такое, чего никогда не было в
целомудренной и благородно пылкой душе ее приемного отца, – нечто эгоистическое и страш-
ное. Она отвернулась, чтобы скрыть невольную слезу, покотившуюся по ее щеке, но зоркий,
как у рыси, взгляд короля замечал все. Он воротился и снова занес над Консуэло трость, но на
этот раз с такую нежностью, словно играл со своим ребенком.

– Скверное создание, – сказал он ей растроганным и ласковым тоном, у вас нет ко мне
ни малейшей дружбы.

– Вы сильно ошибаетесь, господин барон, – ответила добрая Консуэло, поддавшись оба-
янию этого полупритворства, которое так искусно загладило искреннюю и грубую вспышку

королевского гнева. – Моя дружба к капитану Крейцу столь же велика, сколь велика неприязнь к королю Пруссии.

– Это потому, что вы не понимаете, не можете понять короля Пруссии, – возразил Фридрих. – Но не будем говорить о нем. Наступит день, когда вы более справедливо оцените человека, который пытается править своей страной как можно лучше, но для этого вам надо пожить здесь подольше и ознакомиться с ее духом, с ее потребностями. А пока что будьте немного полюбезнее с этим беднягой бароном – ведь ему так наскучил двор, наскучили придворные льстецы, и он пришел сюда, чтобы найти хоть немного покоя и счастья рядом с чистой душой и ясным умом. У меня был всего один час, чтобы насладиться всем этим, а вы все время ссорились со мной. Я приду еще как-нибудь, но с условием, что вы примете меня полюбезнее. Чтобы развлечь вас, я приведу с собой левретку Мопсюль, а если будете умницей, подарю вам красивого белого щенка, которого она теперь кормит. Вам придется хорошенько заботиться о нем. Да, совсем забыл! Я принес вам стихи собственного сочинения, несколько строф. Можете подобрать к ним мелодию, а моя сестра Амалия охотно споет их нам.

Король уже собрался уходить, но несколько раз возвращался, непринужденно болтая и расточая предмету своей благосклонности ласковые комплименты. При случае он умел говорить милые пустяки, хотя вообще речь его была сжатой, энергичной, исполненной здравого смысла. Ни один человек не мог вести столь содержательный разговор, и такой серьезный, такой уверенный тон редко преобладал в интимных беседах той эпохи. Но с Консуэло король хотел быть «славным малым», и эта роль до такой степени ему удавалась, что иной раз молодая девушка начинала простодушно им восхищаться. Когда он ушел, она, по обыкновению, пожалела, что не сумела оттолкнуть его от себя и отбить охоту к этим опасным визитам. Со своей стороны, король тоже ушел немного недовольный собой. Он по-своему любил Консуэло и желал бы внушить ей чувство истинной привязанности и восхищения, которое его лжедрузья философы только разыгрывали перед ним. Быть может, он многое бы отдал – а он не любил что-либо отдавать, – чтобы хоть раз в жизни познать радости любви, искренней и неподдельной. Но он прекрасно понимал, что это было бы нелегко совместить с привычкой властвовать, от которой он не желал отказаться. И словно сытый кот, который играет с готовой ускользнуть мышкой, он и сам не знал хорошенько, чего хочет – приручить ее или задушить. «Она заходит слишком далеко, и это кончится плохо, – думал он, садясь в карету. – Если она будет продолжать упрямяться, придется заставить ее совершить какую-нибудь оплошность и услатить на некоторое время в крепость, чтобы тюремный распорядок умерил это надменное бесстрашие. Однако я предпочел бы пленить ее и подчинить своему обаянию – ведь действует же оно на других. Быть не может, чтобы я не добился цели, если проявлю немного терпения. Эта незначительная задача злит меня, но в то же время и забавляет. Посмотрим! Несомненно одно – ей не следует уезжать сейчас – нельзя позволить ей похвастаться тем, что она безнаказанно высказывала мне в глаза свои прописные истины. Нет, нет! Она расстанется со мной лишь тогда, когда будет покорена или сломлена...» После чего король, у которого, как понимает читатель, было в голове немало других забот, раскрыл книгу, чтобы не терять и пяти минут на ненужные размышления, а выходя из кареты, уже не помнил, с какими мыслями сел туда.

Встревоженная и дрожащая, Порпорина значительно дольше раздумывала об опасностях своего положения. Она сильно упрекала себя за то, что не сумела окончательно настоять на своем отъезде и, хоть безмолвно, но все же согласилась от него отказаться. Из этих размышлений ее вывел посыльный, который принес деньги и письмо от госпожи фон Клейст для передачи Сен-Жермену. Все это предназначалось Тренку, и ответственность целиком ложилась на Консуэло: в случае надобности, чтобы сохранить тайну принцессы, она должна была взять на себя еще и роль возлюбленной беглеца. Итак, певица оказалась втянутой в неприятную историю, тем более опасную, что она была не слишком уверена в надежности таинственных посредников, с которыми ее заставили вступить в сношения и которые, видимо, хотели завладеть ее

собственными секретами. Обдумывая все это, она занялась маскарадным костюмом для бала в Опере, где обещала встретиться с Сен-Жерменом, с каким-то покорным ужасом повторяя про себя, что находится на краю пропасти.

ГЛАВА 12

Сразу же после окончания спектакля зала была прибрана, ярко освещена, украшена, как того требовал обычай, и ровно в полночь большой бал-маскарад, который в Берлине назывался публичным, был открыт. Публика здесь была весьма смешанная, поскольку принцы, а быть может, даже и принцессы королевской крови слились с толпой актеров и актрис всех театров. Порпорина проскользнула в залу одна, переодетая монахиней, так как этот костюм давал ей возможность скрыть шею и плечи под покрывалом, а очертания фигуры – под широким платьем. Она чувствовала, что, во избежание толков, могущих возникнуть после ее свидания с Сен-Жерменом, нужно стать неузнаваемой, а кроме того, не прочь была испытать проницательность графа – ведь он уверял, что узнает ее в любом костюме. Поэтому она собственноручно, не поделившись своим секретом даже со служанкой, смастерила себе этот простой, непритязательный наряд и вышла из дому, закутавшись в длинную шубку, которую сняла лишь тогда, когда оказалась в густой толпе. Но не успела она обойти залу, как произошло нечто сильно ее встревожившее. Какая-то маска, одинакового с ней роста и, по-видимому, одного пола, одетая в точно такой же костюм монахини, несколько раз подходила к ней и подшучивала над полным сходством их наряда.

– Милая сестра, – говорила ей монахиня, – мне бы хотелось знать, кто из нас является тенью другой. Мне кажется, ты легче, прозрачнее меня, и я хочу прикоснуться к твоей руке, чтобы убедиться кто ты: мой близнец или же мой призрак.

Консуэло отделалась от этих приставаний и хотела было пройти в свою уборную, чтобы надеть другой костюм или, во избежание недоразумений, хотя немного изменить этот. Она боялась, что, несмотря на все предосторожности, граф де Сен-Жермен все-таки разузнал, в каком она будет костюме, что он заговорит с ее двойником и откроет той, другой маске тайны, о которых сообщил ей накануне. Но она не успела сделать то, что задумала. Какой-то капуцин уже бежал за ней следом и, невзирая на сопротивление, завладел ее рукой.

– Вам не удастся убежать от меня, милая сестра, – тихо сказал он ей. – Я ваш духовник и сейчас перечислю все ваши прегрешения. Вы принцесса Амалия.

– Ты еще послушник, брат, – ответила Консуэло, меняя голос, как это принято на маскарадах. – Ты плохо знаешь своих прихожанок.

– Бесплезно менять голос, сестрица. Не знаю, такой ли костюм носит твой орден, но ты аббатиса Кведлинбургская и можешь смело признаться в этом мне, твоему брату Генриху.

Консуэло действительно узнала голос принца, который не раз беседовал с ней и довольно сильно картавил. Чтобы убедиться, что ее двойник и в самом деле принцесса, она продолжала все отрицать, но принц добавил:

– Я видел твой костюм у портного, а так как для принцев секретов нет, мне стала известна твоя тайна. Впрочем, не будем терять времени на болтовню. Вы вряд ли намерены интриговать меня, дорогая сестра, а я не для того хожу за вами по пятам, чтобы докучать вам. Мне нужно сообщить вам нечто важное. Давайте отойдем в сторону.

Консуэло пошла за увлекавшим ее вперед принцем, твердо решив, что скорее снимет маску, нежели воспользуется ошибкой и станет выслушивать семейные тайны. Но при первых же словах, которые произнес принц, когда они вошли в одну из лож, она невольно насторожилась и сочла себя вправе дослушать до конца.

– Будьте осторожны, не слишком сближайтесь с Порпориной, – сказал принц своей мнимой сестре. – Это не значит, что я сомневаюсь в ее умении хранить тайны или в благородстве ее сердца. За нее ручаются самые высокие лица, принадлежащие к ордену. Боюсь, что дам вам повод для насмешек над моим чувством к этой привлекательной особе, но все же повторю, что разделяю вашу симпатию к ней. Тем не менее и эти лица и я – мы считаем, что вы не

должны быть чересчур откровенны с нею, прежде чем не станет совершенно ясно ее умонастроение. Подобное начинание, способное моментально воспламенить пылкое воображение вроде вашего и исполненный законного возмущения ум вроде моего, может вначале утратить робкую девушку, чуждую, без сомнения, философии и политики. Доводы, повлиявшие на вас, не способны произвести впечатление на женщину, живущую в совершенно иной сфере. Предоставьте же заботу о ее посвящении Трисмегисту или Сен-Жермену.

– Но разве Трисмегист не уехал? – спросила Консуэло, которая была слишком хорошей актрисой, чтобы ей не удавалось имитировать хриплый, то и дело меняющийся голос принцессы Амалии.

– Вам лучше знать, уехал он или нет; ведь этот человек видится только с вами. Я с ним незнаком. Но вот господин де Сен-Жермен представляется мне самым умелым и самым сведущим человеком в том искусстве, которое интересует вас обоих. Он изо всех сил старается привлечь к нам эту прелестную певицу и отвратить угрожающую ей опасность.

– А ей в самом деле грозит опасность? – спросила Консуэло.

– Да, если она будет все так же упорно отвергать любезности господина Маркиза.

– Какого маркиза? – с удивлением спросила Консуэло.

– Как вы рассеяны, сестрица! Я говорю о Фрице, то есть о Далай-Ламе.

– Ах, о маркизе Бранденбургском! – сказала Порпорина, сообразив наконец, что речь идет о короле. – Так, по-вашему, он действительно принимает эту девушку всерьез?

– Не скажу, что он ее любит, но он ревнует ее. И кроме того, сестра, должен сказать, что вы сами ставите эту бедную девушку под угрозу, открывая ей свои тайны... Я ничего не знаю и не хочу знать, но во имя неба, будьте осторожны и не давайте нашим друзьям повода заподозрить, что вами движет не любовь к политической свободе, а какое-то иное чувство. Мы решили принять вашу графиню Рудольштадт. Когда она примет посвящение и будет связана клятвами, обещаниями и угрозами, вы сможете видеться с ней без всякого риска. А до тех пор, умоляю вас, воздержитесь от встреч с ней и от разговоров о наших общих делах. Для начала уезжайте с этого бала. Вам не подобает присутствовать здесь, и Далай-Лама непременно узнает, что вы сюда приходили. Дайте руку, и пойдете к выходу. Проводить вас дальше я не смогу, ибо считается, что я нахожусь под арестом в Потсдаме, а у дворцовых стен есть глаза, которые могут проникнуть даже через железную маску.

В эту минуту кто-то постучал в дверь ложи, и так как принц не открывал, стук повторился.

– Каков наглец! Он хочет войти в ложу, где находится дама! – сказал принц, высунув бороду в окошечко ложи. Но человек в красном домино, в мертвенно-бледной маске – в ней было что-то пугающее – вдруг появился перед окошечком и, сделав какой-то странный жест, проговорил: «Идет дождь».

Это известие, видимо, произвело на принца сильное впечатление.

– Что я должен делать – уйти или остаться здесь? – спросил он у человека в красном домино.

– Вы должны найти другую монахиню, – ответил тот, – очень похожую на эту. Она бродит где-то в толпе. А об этой даме я позабочусь сам, – добавил он, указывая на Консуэло и входя в ложу, дверь которой перед ним предупредительно открыл принц. Они шепотом обменялись несколькими фразами, и принц вышел, не сказав Порпорине ни одного слова.

– Почему вы избрали для себя точно такой же маскарадный костюм, как у принцессы? – спросил человек в красном домино, усаживаясь в глубине ложи. – Это может повести к недоразумениям, гибельным и для нее и для вас. Не узнаю вашей обычной осторожности и преданности.

– Если мой костюм похож на костюм какой-то другой дамы, мне об этом ничего не известно, – ответила Консуэло, державшаяся с этим новым собеседником настороже.

– Я решил, что это карнавальная шутка, о которой вы обе условились заранее. Но раз я ошибся и это дело случая, поговорим о вас, графиня, и предоставим принцессу ее участи.

– Но, сударь, если кому-то угрожает опасность, по-моему, лицам, говорящим о преданности, не подобает сидеть сложа руки.

– Человек, только что покинувший вас, позаботится об этой шальной августейшей головке. Вам, конечно, неизвестно, что эта авантюра интересует его больше, чем нас, – ведь он тоже ухаживает за вами.

– Ошибаетесь, сударь. Я знаю этого человека не больше, чем вас. К тому же ваши речи не похожи ни на речи друга, ни на речи шутника. Позвольте же мне вернуться на бал.

– Сначала позвольте попросить у вас бумажник, который вам поручено мне передать.

– С чего вы взяли? Мне никто ничего не поручал.

– Прекрасно, другим вы должны отвечать именно так. Но не мне – я граф де Сен-Жермен.

– Мне это неизвестно.

– Даже если я сниму маску, вы все равно не узнаете меня – ведь вы видели меня в темноте, ночью. Но вот вам моя верительная грамота.

Человек в красном домино показал Консуэло нотный листок с условным значком, который она сразу же узнала. Дрожа от волнения, она отдала бумажник, но добавила:

– Запомните мои слова. Мне никто ничего не поручал. Это я, я сама посылаю известному вам лицу письма и прилагаемые к ним переводные векселя.

– Так, значит, это вы любовница барона фон Тренка?

Испуганная тягостной ложью, которую от нее требовали, Консуэло молчала.

– Отвечайте, сударыня, – сказал человек в красном домино. – Барон не скрыл от нас, что он получает утешение и помощь от особы, которая его любит. Стало быть, это вы подруга барона?

– Да, я, – твердо ответила Консуэло, – и меня удивляют, меня оскорбляют ваши вопросы. Разве нельзя мне дружить с бароном, не выслушивая при этом грубых намеков и унижительных подозрений, которые вы позволяете себе произносить в разговоре со мной?

– Положение чересчур серьезно, чтобы придирааться к словам. Вы даете мне поручение, подвергающее мою жизнь опасности. Тут может оказаться политическая подкладка, а мне отнюдь не желательно быть замешанным в каком-нибудь заговоре. Я дал слово лицам, сочувствующим барону фон Тренку, что помогу ему поддерживать сношения с предметом его любви. Но поймите – я не обещал помогать ему поддерживать сношения с людьми, которые с ним дружат. Дружба – понятие растяжимое, оно внушает мне беспокойство. Я знаю, что вы неспособны на ложь. Если вы прямо скажете мне, что Тренк ваш возлюбленный и я смогу сообщить это Альберту фон Рудольштадту...

– Боже праведный! Не мучьте меня, сударь, Альберта больше нет!..

– По мнению людей, он умер, я это знаю, но для вас, как и для меня, он жив и будет жить вечно.

– Если вы понимаете это в смысле религиозном и условном, тогда конечно, но в смысле материальном...

– Не будем спорить. Завеса еще покрывает ваш ум, но скоро она исчезнет. Сейчас мне важно знать одно – каковы ваши отношения с Тренком. Если он ваш любовник, я берусь передать ему эту посылку, от которой, быть может, зависит его жизнь, ибо у него нет никаких средств к существованию. Но если вы откажетесь высказаться яснее, то и я отказываюсь быть посредником между вами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.